



Виталий Николаевич Сёмин

Нагрудный знак «OST» (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=129445

*Сёмин, В. Н. НАГРУДНЫЙ ЗНАК "OST": АСТ : Редакция Елены Шубиной; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-090652-9*

Аннотация

Роман Виталия Сёмина (1927–1978) «Нагрудный знак „OST“» – первое произведение, прорвавшее плотину молчания вокруг трагической темы русских оstarбайтеров в гитлеровской Германии. В основу романа легла судьба самого писателя, угнанного подростком на работы в Третий рейх. Автор признавался, как трудно – с «ожогами» и «вскриками» – писалась эта книга, как держало и не отпускало чувство долга перед товарищами по несчастью. Судьба книги была тоже нелегкой. Ее долго не переиздавали даже в наши либеральные времена. Теперь роман снова находит своего читателя.

Содержание

Прорванная плотина	5
Нагрудный знак «OST»	9
1	9
2	12
3	14
4	30
5	35
6	72
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Виталий Семин

Нагрудный знак «Ost»

© ООО «Издательство АСТ»

© Семин В. Н., наследники

Прорванная плотина

Нельзя изменить память, не рассекая сосуды.

Виталий Семин

Я говорю за всех с такою силой...

Осип Мандельштам

Когда говорят пушки, когда грохочет война, цена человеческой жизни – ноль.

Вторая мировая война дала пример беспрецедентного цинизма по отношению к военнопленным и жителям оккупированных территорий.

Каждая новая оккупационная зона – это не только штандарты со свастикой на сакральных зданиях поверженных столиц, не только урожаи на полях и полезные ископаемые в глубинах недр, но еще и новые резервуары копеечного труда. А перегревшаяся машина Третьего рейха требовала себе все больше и больше рабочих рук взамен собственных рабочих и крестьян, призываемых воевать. С этой точки зрения просторы Советской России – это не только украинский хлеб, донецкий уголь и майкопская нефть, но и возможности рабского труда на заводах и фабриках, стройках и каменоломнях, сельских и даже городских домохозяйствах в Германии и повсюду, куда простиралась власть вермахта. Советских военнопленных и гражданских рабочих (остарбайтеров, как их величали хозяева, или остовцев, остов, как они называли себя сами) можно было встретить и в Норвегии, и во Франции, и в Румынии и даже в Англии (на Джерси, Олдерни и других захваченных немцами британских островах в Ла Манше).

Тема плена и принудительного труда в годы войны была в СССР табу до самого его конца: писать об этом не рекомендовалось. Советская историография отделялась общими фразами о разоблаченном в Нюрнберге преступном нацистском режиме. Не занимались ею и историки-диссиденты. Политкорректные письма остовцев и кое-какие документы увидели свет в сборниках «Письма с фашистской каторги» (на украинском языке, 1947) и «Преступные цели – преступные средства» (на русском языке, 1963). Интересно, что сборник документов под заглавием «Немецкая каторга», еще в 1943 году подготовленный Чрезвычайной государственной комиссией по расследованию национал-социалистических преступлений, хотя и был использован советской стороной на Нюрнбергском процессе, но так и не вышел в свет¹.

Если же говорить о репатриации советских граждан, то здесь как раз литературы было сколько угодно, но литературы специфической, сугубо пропагандистской. Малоформатные книжечки и брошюры последних военных месяцев и первых послевоенных лет с характерными названиями типа «Домой на Родину», «Они вернулись на Родину», «Родина знает о твоих муках» и тому подобное были в равной степени рассчитаны и на бывших военнопленных, и на остарбайтеров.

В этом же – пропагандистском – ряду стоит упомянуть и пьесу «Я хочу домой» Сергея Михалкова, удостоенную Сталинской премии II степени за 1946 год. В ней повествуется о борьбе советских офицеров по репатриации Добрынина и Сорокина с английскими офицерами Куком, Скоттом и Эйтом, ни за что не желавшими отпустить на родину маленьких граждан страны советов – Сашу Бутузова и Иру Соколову². Ту же идеологическую нагрузку,

¹ См.: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 385. Впрочем, составитель сборника Ирина Эрбург (дочь И. Г. Эренбурга) утверждала, что сборник все же вышел, правда, весьма ограниченным тиражом. Обнаружить хотя бы библиографические следы этой публикации не удалось.

² В 1949 году пьеса была экранизирована. Своеобразным ответом русской литературной эмиграции может считаться

но в контексте не начала, а разгара Холодной войны, несла и книга полковника А. Брюханова «Вот как это было. О работе миссии по репатриации советских граждан. Воспоминания советского офицера», вышедшая в Политиздате в 1958 году. Ее автор, в свое время возглавлявший советскую репатриационную миссию в английской оккупационной зоне в Германии и в Дании, стремился показать всему прогрессивному человечеству, как и зачем «вместо того, чтобы помочь нашим соотечественникам вернуться на родину, США и Англия в нарушение своих международных обязательств задерживали советских людей в послевоенное время в лагерях для заполонивших собой всю Европу ДиПи»³.

Плотина умолчания вокруг темы военнопленных и остарбайтеров была прорвана в брежневско-сусловскую эпоху, но сделала это не историческая наука, а русская проза. А еще точнее – один-единственный прозаик, Виталий Николаевич Семин, замечательный русский писатель с остарбайтерской судьбой.

Ох, и дорого же обошлась ему эта судьба!

Пятнадцатилетний ростовский школьник, угнанный в Германию в 1942-м, отбарабанивший три года невольником в городке Фельберт под Дюссельдорфом и репатриированный на родину в 1945-м, поступая в том же году в железнодорожный техникум, а в 1949-м – на литфак Ростовского пединститута, не стал распространяться о том, где привелось «погостить» во время войны. Но, когда на последнем курсе института «двурушничество» открылось, будущего писателя на волоске от диплома и аспирантуры с треском выставили из вуза.

Семиным заинтересовалось КГБ, пробуя завербовать в банальные стукачи, но, записавшись вольнонаемным и уехав на строительство Куйбышевской ГЭС, Семин сорвался с этого крючка. На Волге он все начинает с чистого листа: продолжает учебу, но на сей раз заочно, в Таганрогском педагогическом. Очным же его университетом стала сельская глубинка Ростовской области, куда он устроился учителем. Только в 1957 году он возвращается в Ростов, где еще некоторое время – как бы по инерции – преподавал (в автодорожном техникуме).

Но в 1958 году порывает с учительством и целиком уходит в писательство (как призвание) и журналистику (как способ прокормления): Семин редакторствовал в ростовской «Вечерке» (здесь увидели свет его первые публикации), а с 1963 года – на ростовском телевидении.

Затем последовали первые заметные публикации в Ростове и Москве – повести «Ласточка-звездочка» (1963) и «Семеро в одном доме» (1965, в «Новом мире»). Первая – о довоенной жизни, вторая – о послевоенной.

А что же между ними, где же война?

Именно война и стала основным плацдармом семинской прозы. Не переставая, работал он над автобиографической вещью, которая потом получила название «Нагрудный знак „OST“». Позднее признавался, как трудно – с «ожогами» и «вскриками» – она писалась, как звала и совестила его память, как затягивали события двадцатилетней давности, как держали и не отпускали.

Пятнадцатилетний Сергей, от имени которого в «Нагрудном знаке „OST“» ведется повествование, – это не просто слепок с пятнадцатилетнего остовца Виталия Семина. Усилием воли в нем сошлись опыт и судьбы многих других остовцев и немцев, как и опыт мно-

рассказ А. Седых «Миссии Кати Джексон», повествующий о фиктивном браке русской остовки Кати и английского офицера по репатриации майора Джексона. Заключение буквально за час до прибытия в лагерь советской репатриационной миссии, этот брак спас девушку от насильственной репатриации. Рассказ, являющийся с художественной точки зрения бесспорной удачей автора, был опубликован самое позднее в 1948 году.

³ *ДиПи* – от DP (или Displaced Persons), что означает «перемещенные лица».

гих других возрастов автора, даже судьба отца. Это придает роману многомерный объем и философский смысл.

Едва ли не главный предмет семинского внимания и исследования, особенно в «Плотине», – категория насилия. Насилия официального, от имени государства, и насилия группового, внутрисоциумного, барачного. Например, от негласной корпорации блатных с их культом круговой жестокости, злобной безжалостности и рефлекторного презрения к каждой отдельной человеческой личности.

Вывод, к которому пришел Семин: «Если в дело замешаны блатные, то, как бы оно ни начиналось, все равно оканчивалось злом». На противопоставлении и противостоянии с этим миром, как и на его исследовании, Семин закалял самого себя и выстраивал свой собственный мир, в котором действуют нравственные нормы и гуманистические ценности. Семинское «мы» во фразе «Мы ведь останавливаемся там, где блатные не оглядываются» дорогого стоит. Именно поэтому, даже целясь в ненавистных немцев, он так и не спускает крючок.

На Колыме, где мир блатных был вездесущ и монументален, в его, не моргая и не отводя глаз, всматривался Шаламов. Здесь же, в Германии, на чужбине, он не так уж очевиден или бесспорен, но Семин показывает, как он пускает корни и как шпана – все эти Блатыги и Сметаны – с каждым днем забирают все больше авторитета и власти, оставляя людям с нормами, как Сергей, все меньше воздуха и проходу.

Один из рассказов, вошедший потом в роман, был написан в середине шестидесятых годов. Но он был отвергнут в том единственном месте, где мог (и, казалось бы, должен) был быть напечатанным, – в «Новом мире».

21 августа 1967 года А. Т. Твардовский вынул его из сентябрьского номера и назавтра записал в дневнике: «Вчера позвонил Кондратовичу, чтобы задержали рассказец Семина (по-видимому, автобиографический) – эпизод из жизни освобожденных из-за немецкой проволоки (угнанных туда на работу), помещенных за нашу проволоку и работающих впредь до проверки на демонтаже немецких предприятий. Ужасная правда, но взятая совсем уж отдельно от всего. Сунуть в цензуру – пойдет дальше, и парня можно окончательно погубить. А ясно, что иначе он не может и не должен ныне писать о том, чего он никогда не забудет».

Если это забота, то несколько иезуитская, не правда ли? Да и «парню» уже за сорок – на горшок не просится.

В результате первая часть всей вещи под названием «Нагрудный знак „OST“» была опубликована только через десять лет – в 1976 году, в апрельской и майской книжках журнала «Дружба народов», где главным редактором был ростовчанин Леонард Лавлинский. Через два года, в 1978-м, «Нагрудный знак „OST“» вышел отдельной книгой в серии «Библиотека „Дружбы народов“» с послесловием Игоря Дедкова.

Продолжение «Нагрудного знака „OST“» – незавершенный роман Семина «Плотина» – вышел уже посмертно, в 1982-м.

В конце 2012 года Виктория Николаевна Кононыхина, вдова Виталия Семина, жаловалась мне в письме на то, насколько прочно ее муж был забыт в родном Ростове. А если вспоминали – то уж лучше бы и не брались: настолько безграмотно и безвкусно было все то, что выходило из-под борзых перьев.

Дорогая Виктория Николаевна, но ведь то же самое можно сказать и о России в целом! До чего же хорошо мы умеем не только запрещать и не пущать, но и пробрасываться и не замечать!

Последний раз книга Семина выходила по-русски еще при советской власти – в 1989 году, потом было переиздание в 1991-м с предисловием А. Адамовича. И всё – в Ростове-на-

Дону. Столичные издательства не сподобились. Уверен, что и сейчас, в 2015-м, роман снова найдет своего читателя, а читатель – автора.

Павел Полян

Нагрудный знак «OST»

1

Здание было трехэтажным, бывшее фабричное здание с цементными, приспособленными под тачечные колеса полами, с большой колоннообразной печкой посередине помещений, которые раньше были фабричными цехами. Печек у нас таких не делают, похожи они на увеличенную во много раз буржуйку, известную по кинофильмам о Гражданской войне. Никаких приспособлений для приготовления пищи в такой печке нет – только поддувало и колосники, на которых горит кокс. Печка поражает экономичностью: малое количество кокса сильно разогревает ее, а огромное железное тело, выложенное изнутри кирпичом, как термос, долго сохраняет тепло. От этой печки идут длинные коленчатые дымогарные трубы, выводящие газ через окно. Они идут над двухъярусными койками, подвешенные на толстой железной проволоке к специальным потолочным кронштейнам. И эти выкрашенные черной огнеупорной краской трубы, и низкий над койками потолок, и сами каторжные койки, деревянные или железные, собранные из некрашеных стандартных деталей, придают всему помещению неправдоподобный, невыносимый вид. Живут в таких помещениях от ста до двухсот человек – койки здесь двух-, а к задней стене и трехэтажные. На каждой койке по бумажному матрацу, набитому соломой, и по бумажной подушке, тоже набитой соломой. На каждую койку полагается по два одеяла: одно вместо простыни, другое – чтобы укрываться. Одеяла стертые и сплюснутые от долгого употребления. И все это – деревянные койки, удаленно напоминающие ряды грубо сколоченных люлек, и бумажные матрацы, и пол, и потолок, и сам воздух – серого цвета, цвета соломенной трухи, которой набиты подушки и матрацы. Лампочек на весь зал три: у входа, над столом и у печи, вокруг которой небольшое, свободное от коек пространство. Лампочки слабые, свет от них тоже серый, соломенный и тоже, кажется, пахнет соломенной трухой.

Столов на все это помещение два. Они сбиты, как сбивают столы для летних временных кухонь, – обструганные доски, ножки накрест и длинная переключина между ними. За столы могут сразу сесть человек тридцать, но столы всегда пусты. Едят, спят, сидят на койках.

Когда ложатся спать, все слышат у себя под щекой скрипение соломенной трухи и запах, идущий от этой старой, пыльной, перетертой соломы, – запах голода, фабрики и казармы.

Еще очень силен в здании запах дезинфекции – карболки и дымящейся извести. Тот, кто поднимается из уборной, долго и в запахе собственной одежды, и в запахе одеяла, и в запахе матраца, и в воздухе, который выдыхает сам, слышит карболку и известь. И если у него есть сигарета, он переждет, прежде чем закурить, иначе и табак будет пахнуть только известью и карболкой. Когда кто-то умирает, его сносят вниз, в умывалку, которая расположена рядом с уборной, и постепенно этот мутный запах приобретает для всех живущих здесь ужасное значение. Значение это с запахом извести и карболки связывается надолго. И жутко бывает спускаться ночью в уборную, даже если рядом, в умывалке, никто не лежит.

В уборной всю ночь горят синие маскировочные лампочки, и синий этот подвальный свет тоже связывается с плотным и ядовитым запахом гашеной извести и карболки.

В уборную жутковато спускаться еще и потому, что как раз у входа в подвал, на первом этаже, – вахтшуба, полицейская комната. Не то чтобы полицейские мешали спускаться в уборную или в умывалку, но лучше не попадайся часто им на глаза, чтобы не запомнили и не выделили тебя. Никого еще не запоминали и не выделяли для чего-нибудь хорошего.

Почти круглосуточно в глазах у тех, кто живет здесь, то яркий, то тусклый электрический свет. Утром поднимаются при электрическом свете, бегут в подвал оправиться и умыться, а затем еще раз спускаются туда же для пересчета. Прежде чем выпустить партию людей на улицу, их пересчитывают в умывалке.

На работу по городу идут в темноте, работают в цехах, где днем и ночью горит свет, в лагерь возвращаются в темноте. И те, кто работает в ночной, тоже почти не видят дневного света. В лагерь их пригоняют в утренние сумерки, когда в помещении еще не выключено электричество, а синие маскировочные шторы не подняты. Ночники и не торопятся поднимать шторы – вернее всего прямо после работы лечь спать. Но многие выстраиваются в очередь к вахштубе, там Гришка-старшина делит хлебные пайки; тем, кто носит заливку, режет буханку на четверых, всем остальным – на пятерых. В очередь с утра становятся те, у кого большая пайка, и самые голодные и малодушные. Очередь стоит во всю длину коридора и еще выходит на лестничную площадку. В этой очереди никто не лезет вперед, никто не просит, чтобы его пропустили. Каждый держится своего места – боится вспугнуть судьбу. Полезешь, а тебе выпадет маленькая пайка.

Около очереди слоняются колеблющиеся, делающие вид, что они в умывалку или из умывалки. Но колеблющиеся никогда не выдерживают. Становятся в очередь.

В коридоре и на лестничной площадке горят электрические лампочки, и получающие пайку встречаются с Гришкой-старшиной на грани электрического и дневного света: в вахштубе уже день, шторы подняты, и комната проветривается от электричества. Если взглянуть в раздаточное окно за Гришкину спину, можно увидеть полицейских, сидящих в утренних вольных позах, в расстегнутых мундирах. Однако с полицейскими не следует встречаться даже глазами. Поэтому получивший пайку тотчас ныряет назад, в коридор, в свою пахнущую соломой электрическую муть, поднимается по лестнице наверх, задерживается на минуту у стола, где сравнивает свою пайку с пайками других, и идет к себе в коечную темноту. Там он съезживается, ссутуливается, шуршит матрацем – прячет остаток пайки. Остаток пайки кладут не в шкафчик, а под матрац или под подушку. Впрочем, у тех, кто получает пайки с утра, хлеб под подушкой не лежит. Пайка под матрацем – плохой сон.

Ощущение, что дневной свет связан с опасностью, вырабатывается очень скоро. Даже на заводе при переходе из цеха в цех могут остановить и спросить, что ты тут делаешь. У лагерника есть место на заводе и в самом лагере, и поэтому он привыкает к тому, что даже днем в воздухе должна быть электрическая пыль, электрический осадок и глаз его должен постоянно чувствовать электрическое утомление, электрическую тоску. Даже у окошка лагернику днем приходится бывать очень редко. В цехах окна наверху, под крышей, в лагерь приходишь в темноте. А ночные в лагере спят. Или лежат у себя на койках. Они встают уже тогда, когда в зале опять зажигают электричество, собираются у печки, которую кто-то из дневальных должен вот-вот разжечь перед приходом дневных, и ждут, пока погонят в умывалку на построение.

В лагере не живут. Лагерь – продолжение фабрики. На фабрике человек работает, а потом его отправляют сюда, чтобы он опять подготовился к работе. И он получает и съедает пайку, и лежит на койке, и лелеет безумную, бесконечно растравляемую надежду где-то добыть окурочек и содрогнуться, втянув в легкие табачный дым.

Из недели в неделю, из месяца в месяц солома в матраце под ним перетирается и начинает просеиваться сквозь шпагатные переплетения матрачного мешка, подушка становится совсем плоской, солома в ней и в матраце давно уже не шуршит, когда пытаешься ее взбить, а скользко скрипит. Если вытянуть из матраца кусочек соломины, видно, как нищенски, как страшно она за это время изменилась – утратила свой желтый, соломенный цвет, сплюснулась, стала по-пороховому хрупкой и бумажно истончилась. В недрах этой пороховой соломы живут кусающиеся насекомые, они свободно проходят сквозь дырчатые переплете-

ния матраца и подушки и свободно возвращаются назад. Поймать их нет никакой возможности, просто лежишь на кусающемся, колющемся матраце, на подушке, которая жжет щеку. Набитый свежей соломой матрацный мешок поднимался выше боковых досок койки, теперь, сплюснутый, он значительно ниже их, и именно поэтому койка похожа на люльку с огражденными стенками. Перетертая, сплюснутая солома распределилась в матраце неравномерно: где-то она еще есть, а где-то лежишь прямо на коечных досках.

От нестираных одеял пахнет фабрикой, литейкой, эфиром, карболкой, а от одежды по утрам зябко и голодно тянет соломой и грязными одеялами. И когда лагерников выгоняют на улицу, все яркие городские краски, которые они видят по дороге на фабрику, – кузова автомобилей, окрашенные в непривычные рекламные красный и желтый цвета, отполированная, почти голубая брусчатка мостовой, витрины булочных – все им кажется заносчивым, вызывающим, как военный немецкий мундир.

А серость лагерная и серость фабричная сливаются, и, только когда над городом завоет сирена, у лагерника появляется нерасчетливая, самоуничтожительная надежда на бомбу прямо сюда. Но город небольшой, и самолеты летят мимо. А короткую бунтовскую вспышку в нашем лагере я помню еще и потому, что к нам ворвались жандармы, и как же они красочно выглядели в своих зеленых шинелях и в высоких пробковых шлемах с короткими лакированными козырьками в нашем сером, воняющем соломой и дезинфекцией воздухе!

Жандармы выгоняли нас в воскресенье на работу, и я запомнил их при дневном свете. Воскресенья мне вообще запомнились долгим дневным светом – по воскресеньям нас выгоняли разгружать вагоны и делать какую-нибудь уличную работу.

2

В этот арбайтслагерь меня приводили дважды. В пересыльном колочая проволока была натянута на фарфоровые чашечки изоляторов высокого напряжения, и на этот фабричный лагерь у меня были надежды. Но, когда нас привезли сюда, здесь уже стояли эти койки, собранные из стандартных деталей, и некрашеное дерево и крашеное железо успели потемнеть и залосниться от прикосновений и дезинфекций. На лестничной площадке было темновато оттого, что это была лестничная площадка, а в залах – потому, что окна загорожены двух- и трехъярусными койками, и вообще весь воздух в залах был загорожен и вытеснен этими койками. Полы были сырыми, потому что их недавно подмели и помыли, но в цемент втерлось и, должно быть, ежегодно втиралось столько грязи, что и полы казались залакированными, замасленными серой несмываемой пленкой. И стены были затерты – их подпирали спинами, терлись о них плечами и локтями. Пахло кирзой, одеялами, соломой, потом, дыханием людей, у которых больной желудок, и кислый этот запах можно было уничтожить, лишь уничтожив весь барак. Сам воздух здесь был серым оттого, что его задышали, оттого, что он побывал в слишком многих легких. Я все это знал по пересыльному: и эту барачную тесноту, и это перегороженное койками пространство, и деревянные стояки коек, и железные стояки, сваренные из тонких труб, сваренные грубо, толстыми швами на стыках, напоминающие о фабрике или о заборе, и доски или железные сетки над головами тех, кто лежит на первом ярусе, тоже напоминающие фабрику и ограду, и то чувство обмирания, смущения и раздражения, которое испытывает человек, вдруг попадая в помещение, где у него надолго будет несколько десятков соседей, на глазах которых теперь придется одеваться и раздеваться, говорить или молчать, есть и стараться выкроить минуту одиночества, когда ночью, в темноте, твоя ячейка, выделенная потолком верхнего яруса и четырьмя стояками – в голове и ногах, – наконец-то отделится от таких же ячеек и ты будешь один лежать, и думать, и стонать, но стонать мысленно, про себя, с закрытыми глазами, потому что, если ты застонешь вслух, твое одиночество тут же разрушится и кто-нибудь крикнет тебе: «Заткнись! Гоните его!» И все заворочаются, заскрипят матрацами, сетками, в воздухе запахнет соломенной трухой, сыплющейся из матрацев, и кто-то закурит папиросу из махорки, и все повернутся и молча (сорок второй год!) будут следить, как кто-то в темноте то поднесет огонь ко рту, то опустит руку вниз.

Воздух только в этом фабричном лагере был застойнее, чем в пересыльном. Привезли нас днем, но никто из ночников не поднялся, чтобы посмотреть на нас. И матрац, который мне дали, был чей-то, и солома, когда я развязал мешок, потекла из него бледно-желтыми бляшками, посыпалась трухой и едва присыпала булыжник двора. Кто-то долго лежал на этой койке.

Когда мне показали эту тупиковую койку, я никак не мог решиться ее занять. Моя одежда давно замялась на полу товарного вагона, на нарах пересыльных лагерей, в тесноте и жаре дезинфекционных камер, приобрела бесформенность, цвет и ворсистость одежды лагерника. Ни в одном городе я не мог бы теперь сойти за обыкновенного прохожего. Но в тот момент я чувствовал на себе домашние брюки и рубашку, отцовское пальто и цеплялся за это чувство. Это было совсем детское чувство, я это, конечно, понимал, но не за что было цепляться, а мне было всего пятнадцать лет. Потом я, как и все, занял койку, поставил в банный шкафчик из прессованного картона свой чемодан – и это была новая ступень отчаяния. А когда нас погнали на лагерный двор набивать матрацы, это уже был тупик. И я помню это место позади лагерного здания, помню ржавые обрезки трубы, проволоку и еще какие-то железки, оставшиеся с того времени, когда здесь была фабрика, помню лагерного полицейского в черной форме, помню русского в серой лагерной спецовке – он вышел вместе с

нами, чтобы сжечь старую солому и показать нам, откуда надо брать новую. Он был хуже одет для улицы, чем мы, и вообще хуже переносил уличный воздух. Помню ужасную меня жалкую какую-то близость между этим лагерником и полицейским – близость старожилов, принимающих новичков. Помню двух французов в коричневой форме, в коричневых пилотках, они тоже сжигали какой-то мусор, были хмуры, в нашу сторону не смотрели, и я принял их за полицейских. Но мне сказали, что это французы-военнопленные, и я заметил потемневшие от слюны окурки, прилипшие к их нижним губам, – немцы так не присасывают сигареты. И еще многое я помню из того, что, казалось, проходило где-то сбоку, но потрясло меня. Я понимал, что любое мое нормальное желание здесь бессмысленно, а хотелось именно, чтобы кто-то пожалел или заметил меня. Я мешкал, и на меня сразу же замахнулся полицейский, а старый лагерник буднично сказал: «Давай, давай, а то побьет!»

3

Теперь-то я знаю, что это был пустяковый, детский побег. В шесть утра мы с Валькой Ростовским ушли из колонны, которую гнали на фабрику, а часам к семи вечера оба оказались в одном и том же полицейском участке. Когда меня туда привели, Валька уже сидел там и плакал, а дежурный жандарм, посмотревший на меня из-под зажженной настольной лампы, рассматривал Валькины фотографии. Он мирно мне кивнул, но ни о чем не спрашивал – не говорил по-русски, а мы не знали по-немецки. Он подождал, пока мы с Валькой переговорим, и догадался: «Камрад?» И Валька согласно кивнул: «Камрад, камрад!» Тогда жандарм достал из стола бумажник, а из бумажника вытряхнул на Валькины фотографии ржавую железку, расстегнул китель и показал шрам – место, куда ударил его этот русский осколок. «Харьков!» – сказал он. Он, конечно, разговаривал с нами потому, что у него на дежурстве было время, говорил он с нами сверху вниз, как взрослый с младшими, как немец с русскими, видел он нас в первый раз и должен был куда-то отправить, но и в эти несколько минут он хотел, чтобы мы поняли его и ему посочувствовали. Валька плакал, а я ждал, когда нас начнут бить. То, что жандарм был добродушен, не успокаивало, а еще больше пугало меня. Сейчас придет кто-то постарше, и этот добродушный человек застегнет китель и будет бить нас сильнее и страшнее, чем если бы он сразу взялся за дело.

Однако пришел полицейский помладше чином и повел нас в подвал. При полицейском дежурный жандарм не то чтобы посуровел – устал с нами объясняться, спрятал в ящик Валькины фотографии, а на Валькины просьбы сказал: «Нахгер»⁴ – и поторопил: идите! И мы пошли за полицейским, который шел впереди и зажигал перед собой в подвальном коридоре свет. Кажется, полицейский понимал, что должны испытывать подростки, впервые спускающиеся в такой подвал. Он шел впереди свободно и не оглядывался. А открыв дверь камеры, подождал, пока мы пройдем, и показал на довольно широкий топчан, покрытый одеялом: вдвоем ляжете. Он собирался запереть нас, а Валька назвал его паном, протянул ему немецкую марку, просил сигареты. Валька раздражал полицейского, он отстранился от денег, однако достал из пачки сигарету, протянул Вальке. «На двоих!» – кивнул он на меня. И опять была заминка: полицейский хотел закрыть дверь, а Валька просил огня, и, уступая еще раз, полицейский дал Вальке прикурить, показал жестом, что все это запрещено, что курить надо тайно, а дым рассеивать, запер дверь и ушел.

Свет он потушил, и мы остались в темноте. Рыданиями Валька надрывал мне душу, и мы с ним поругались. Если бы я был один, я тоже плакал бы, но плакать с кем-то или при ком-то я не мог. Валька плакал из-за фотографий, он и полицейскому пытался объяснить: «Это мои последние фотографии». Фотографии были семейные – Валька с отцом, матерью и сестрами, – я понимал его, но думал, что у нас скоро будут причины поважнее, чтобы плакать. Так мы с ним сидели в темноте. Валька курил сигарету, которую он, несмотря на рыдания, сумел выпросить, и никак не мог решиться передать ее мне.

Свет зажегся утром. Дверь открыл тот же полицейский и велел собираться. Одет он был для улицы, я это сразу заметил: на нем были длинная зеленая шинель и высокая каска с коротким лакированным козырьком. Он привел нас на трамвайную остановку, и минут сорок мы с ним ехали на задней площадке прицепного вагона. Трамвай этот был междугородным, и, когда я понял, что ехать предстояло далеко, меня немного отпустило – пока не приехали и не пришли, бить не будут. Немцы о чем-то спрашивали полицейского, иногда грозили нам, но, в общем, трамвай был чистый, пассажиров немного, и все они говорили

⁴ «Потом» (нем.).

кондуктору «битте», и у меня стало появляться такое чувство, что везет нас взрослый человек, а мы ведь подростки, вчерашние дети, и потому плохого он нам не сделает.

Однако, когда мы вышли из трамвая, страх вернулся. Полицейский на минуту замешкался с нами у входа в большое здание, как будто хотел сказать: «Подождите», – но потом велел идти за ним. Вестибюль был широкий, безлюдный, с широкой лестницей, накрытой ковровой дорожкой. Может быть, ковровой дорожки и не было, но от этой лестницы у меня осталось ощущение покоя, надежды и великолепия. Мы поднялись за полицейским на второй этаж, он постучал в закрытое фанеркой окошко, оттуда, как из кассы кинотеатра, выглянул человек, взял у полицейского бумагу и сказал ему что-то осуждающее, указывая на нас. Полицейский ответил, и мы вновь вышли на улицу. И тут я понял, почему полицейский замешкался, когда вводил нас в это здание: мы не с этой стороны должны были в него входить. Теперь мы стояли у ворот, из которых только что выехал грузовик, и я сразу догадался, что это за ворота и что за подворотня, хотя никогда еще таких не видел. Эту подворотню и со двора, и с улицы запирало двое металлических ворот, они были так плотно подогнаны к сводам, что в камере, которая образовалась между ними, и днем должна была быть темнота. И своды у этой подворотни были особенными, и цвет этих сводов. И человек, который закрывал ворота за грузовиком, так громко шутил и смеялся, что сразу было понятно, куда нас привели. Он не пустил нас в ворота, а вызвал другого человека, и тот тоже шутил и смеялся, когда читал бумагу, которую ему дал полицейский.

Мы вошли во двор, в котором ничего не было, кроме цементной гладкости, серости и пустоты, и остановились перед новой глухой подворотней. И опять была пара ворот, и опять усилившееся ощущение цементной гладкости, пустоты и тщательно подметенного асфальта. На этом асфальте, наверно, никогда не было мусора, но его все-таки подметали – видны были даже следы метлы. Так мы прошли два или три двора, а в самую тюрьму попали из небольшого дворика. Полицейский позвонил, открылась дверь, за которой был длинный и узкий цементный коридор, запертый двумя решетками – внутренней и наружной, дублирующей глухую дверь. Тот, что открыл нам дверь, стоял за наружной решеткой и сквозь решетку взял у полицейского бумагу. Мне показалось, что они знакомы – тот, за решеткой, шутил, а полицейский что-то отвечал ему и смущался. Потом полицейский забрал свою бумагу и ушел, не взглянув на нас, а нас с Валькой впервые в тюрьме заметили, открыли нам решетку и повели по коридору внутрь. Нас привели в канцелярию и велели вывернуть карманы.

Эту минуту я ждал давно. В полиции нас не обыскивали, Валька сам показывал дежурному жандарму свои фотографии, и утром их ему вернули. Теперь он опять достал всю пачку и зарыдал. А для меня начинался страх, от которого я мог бы давно избавиться, но почему-то не избавился: во внутреннем кармане моего пальто рукояткой вниз, чтобы не пропороть карман, лежал самодельный кинжал с узким и длинным острием. Все, что мы доставали из карманов, надо было укладывать в ящички – Вальке в Валькин, мне в мой. Я выворачивал брючные и пиджачные карманы – тянул время. Положил в ящик три лагерные хлебные пайки. В карманах они нагрелись, обмялись и крошились, когда я тянул их. Рядом с пайками я положил жестяную коробочку из-под зубного порошка, в которой у меня было немного сахара. И еще у меня был кусок глиняного мыла в истлевшей обертке. Все это, собираясь бежать, я выменял на вещи, которые нельзя было надеть на себя (надел я две пары кальсон и две рубашки, чтобы можно было ночевать на земле). Еще у меня было девять марок, я их тоже положил в ящик. Больше доставать было нечего, и, повернувшись так, чтобы меня мог видеть только переводчик – на него я и рассчитывал! – я быстро сунул нож в ящик. Но переводчик, увидев кинжал, чему-то обрадовался, схватил его и воткнул в дно ящика. Воткнутый в плотную фанерную дощечку, нож покачивался, а переводчик, откинувшись на стуле, смотрел на него и смеялся. К нам поворачивались все, кто был в канцелярии, и я видел, как меняется у них выражение лиц.

Но тут кто-то вошел и поторопил нас. Переводчик выдернул кинжал, бросил его в ящик, ящики сунул в огромный стеной шкаф и повел нас на дезинфекцию. Я боялся дезинфекции потому, что непреременные побои в банном пару и дыму были унижительнее обычных побоев, но и чувствовал облегчение потому, что меня уводили из канцелярии, где теперь лежал мой кинжал, который я провез и пронес так далеко.

Я выточил его из нашего штыка. И сейчас было видно, что кинжал этот был граненым, вороненого цвета, хотя и просветленный напильником. Мы, ребята, искали оружие. Принесли на чердак нашего дома два ящика мин, зарыли во дворе винтовку. Искали мы пистолеты, но пистолетов не было. И я снял с винтовки штык и укоротил его. Работал я не меньше месяца, загнал несколько напильников – сталь на штыке была очень крепкой. Тут я должен вот что сказать: о том, что я собираюсь бежать, знал весь лагерь. Я не мог об этом не говорить, как Валька не мог не плакать, когда у него отбирали фотографии. Один раз даже Гришка-старшина меня спросил: «Это ты собираешься бежать?» Гришка был настоящим уголовником. Перед войной он вышел из нашей тюрьмы, а вот теперь в Германии делил хлебные пайки. У него были сытое лицо и бледная кожа: от работы он сумел освободиться, но на улицу его не пускали. Выпуклые глаза его обладали каким-то особым выражением остекленения – никогда нельзя было понять, замечает он тебя или не замечает. С минуту он рассматривал мое барахло, которое я менял на хлеб, потом глаза его остекленели, он постоял, не замечая меня, думая о чем-то своем, и ушел.

Мои вещи – брюки, нижнюю рубашку (с полотенцем, простыней, чемоданом и всем тем, чего я не мог взять с собой, в придачу) – за три пайки купил семейный дядька с третьего этажа. Он же за мой нож – и о ноже знали в лагере – предлагал две пайки. «Зачем он тебе? – уговаривал он меня. – А я дома буду свиной колоть. Меня всегда звали колоть – рука у меня такая. А нож только для этого и годится». Он долго меня умолачивал – немного уговаривал, немного грозил, – очень ему нравился мой кинжал. Но больше всего меня пугало непонятное презрение этого дядьки и его уверенность, что мне кинжал ни к чему. Это был третий дядька, и он мне показывал, что он третий, что ему предстоит долгая жизнь, а мне и кинжал, и чемодан, и те вещи, которые я на себе унесу, «ни к чему».

В канцелярии переводчик отдал нам наш хлеб. «Он вам здесь понадобится», – пообещал он. Тотчас что-то сказал немцам и засмеялся. «Перевел то, что сказал нам», – подумал я. У Вальки было две пайки. Он шел и ел их, запихивался хлебом, чтобы его опять не отняли, а я стыдился того, что он делает, и думал, что Валька ничего не стесняется – плачет, жрет хлеб, выпрашивает сигареты – и всегда, в общем, делает то, что выгоднее сделать в эту минуту.

В предбаннике перед маленькой – на две или три кабинки – душевой нас раздели догола и еще раз обыскали: прощупали подкладку, вывернули карманы. Одежду унесли, а нас передали парикмахеру. Переводчик вышел, а парикмахер показал мне первому на табурет. Я был голым, держал в руках три пайки хлеба, а он показывал на табурет так, будто я был одетым и сам пришел к нему в парикмахерскую. Он вел машинку от лба к затылку, а я ежился от ожидания. В тюремном предбаннике был кафель, он выглядел прохладным и сухим. Чувствовалось, что сегодня нас первых привели сюда. Горело две лампочки: одна в самом предбаннике, другая в душевой. На стене предбанника никелем блестел прибор, регулирующий напор воды и ее температуру, что-то вроде рулевого колеса под манометром и термометром. Точно такой прибор, только больших размеров, я видел в фабричной душевой. Парикмахер был в белом халате, и обращался он со мной не просто вежливо, а с искательством – я это сразу почувствовал, потому что не вежливости ждал. Парикмахер был немец и заключенный, но даже о том, что он немец, я догадался не сразу: стараясь не вызвать мгновенного отчуждения, он объяснялся жестами. «М-м?» – мычал он и наклонял мне голову. Или показывал, что хорошо меня стрижет. Стричь наголо – это стрижь наголо, и ничего больше. Я опасался этой вежливости, но о том, что парикмахер – немец и заключенный, догадался

только тогда, когда он, оглянувшись на дверь, предложил мне поменять хлеб на сигареты. Времени на размышление, судя по выражению его глаз, у меня не было – кто-то должен был сюда войти. Я кивнул. Немец был заключенным, следовательно, товарищем, камрадом – это сидело во мне крепко. Я давно ждал знака, случая, чтобы связаться с подпольем. А кроме того, я еще не умел отказывать тем, кто меня вот так просил. Немец взял пайку и сунул ее под халат, потом сунул туда же вторую, а третью я задержал рукой. Мне было стыдно, что я удерживаю третий кусок хлеба – может, он пойдет в тюремное подполье, – но парикмахер не настаивал. Взгляд его остекленел, как взгляд Гришки-старшины, когда тот перестал мною интересоваться. Только что он меня в чем-то убеждал, показывал, что он мне потом – все равно в тюрьме сидеть! – передаст сигареты и баланду, а теперь лицо его выражало только облегчение. Такую смену выражений я давно заметил у блатных – вот он чего-то добивается, клянется, называет тебя другом, а вот забрал, почти отнял то, что ему нужно, и всё! Сразу теряет к тебе интерес. С самого начала я этого боялся, а вот не удержался, не смог.

Парикмахер проследил, чтобы мы с Валькой намазали дезинфекционной жидкостью голову, подмышки, и отправил нас под душ. Но задержаться под душем не дал. Едва я пристроился под струей, как она прекратилась. Валька стал просить еще, и банщик-парикмахер, объясняя, что это почему-то нельзя, запрещено, включил на несколько секунд холодную воду. Голые и полубомывшиеся, мы сидели в предбаннике, ждали, когда нам дадут одежду. Парикмахер сметал волосы, и я ему сказал:

– А сигареты?

Он сунул мне что-то завернутое в папиросную бумагу.

– Одну за две пайки!

Он оглянулся на дверь и приложил палец к губам, а я осторожно, чтобы почувствовать табак, размял сигарету. Это была не сигарета. В папиросной бумаге была вата.

Принесли наши вещи, вошел переводчик, и парикмахер сказал мне быстро:

– Прима табак!

В лагере я испытывал чувство, которое и с голодом не сравнишь, – мне нужен был старший. И пусть бы посылал меня: «Сбегай туда, принеси то». Лишь бы он однажды сказал: «Будем переходить в новый барак – ляжешь рядом». За это «ляжешь рядом» я бы вдребезги разбился. И про эту дурацкую сигарету я подумал: может, это особая проникотиненная вата, немцы – мастера на всякие эрзацы. И снова я натягивал на себя кальсоны, рубашки – одежду нам принесли и бросили на пол, а мы доставали ее из этой продезинфицированной кучи и надевали, еще теплую и чем-то воняющую, на себя.

И опять переводчик повел нас за собой. Он шел, аккуратно цокая подковками по металлическим ступеням, пересмеиваясь с охранниками, которые стояли на каждом этаже. Такого здания мне не приходилось видеть. Мы спускались на дно колодца по лестницам-трапам, навешанным на одну жилую стену. Противоположная кирпичная стена была глухой. Двери камер выходили на лестничные площадки, а между лестничными площадками и кирпичной стеной – она была даже не оштукатурена – было пустое пространство. Оно-то и образовывало колодец. Откуда-то проникал дневной свет, он смешивался с электрическим, и электрический пересиливал. Свет почти не отбрасывал теней, потому что нечему было отбрасывать тени. Лестницы мне запомнились черными, металлическими. Оттого, что они были навесными, под ними очень чувствовались глубина и пустота. Я уже так давно начал валяться на полу товарного вагона, на лагерных нарах, так давно замял и испачкал свою одежду (я ведь и работал в тех же брюках и в том же пальто), что почти физически ощущал тюремную чистоту. Нас должны были запереть в одной из камер, и я даже хотел, чтобы нас заперли и оставили одних. Из тюрьмы на работу не гоняют, и поэтому тюрьма не казалась мне страшнее лагеря. Правда, я и опасался остаться в одиночестве, потому что был голоден. Третью пайку я съел, чтобы и ее не отняли. Как и Валька, я с самого начала в тюрьме тревожился

за свой хлеб. Но три пайки создавали ощущение защищенности. Я их чувствовал у себя под рукой и мог думать, что одну съем сегодня, а у меня еще останется целых две. Ради этого я шел на риск, голодал, переносил сроки – оттягивал время, когда я эти пайки начну есть. Теперь, без хлеба, я был совсем один в этой тюрьме. Даже страх перед побоями не отвлекал меня. И вот глазами, уже привыкшими искать хоть что-то похожее на пищу, я смотрел на сквозящие металлические ступени, на серую жилую стену, на красный кирпич глухой (оттого, что стена не оштукатурена, казалось, что ты как бы на улице) и чувствовал, что в этой чистоте нет еды. Я смотрел на веселого переводчика и удивлялся – что он ест! Вот эта мысль, что в Германии и для немцев мало еды, меня очень занимала.

Мы спустились ниже надземных этажей тюрьмы, и я понял, что камеры с окнами не для нас. Под самой нижней навесной лестницей, на дне колодца, переводчик щелкнул выключателем и привел нас к низенькой двери. Он открыл дверь, и я увидел за ней темноту.

– Принимайте новеньких! – весело крикнул он.

Из темноты сказали:

– Некуда.

– Давай, давай, – подтолкнул нас переводчик.

И я вошел вслед за Валькой. Темнота была не абсолютной – в камере горела очень слабая лампочка, просто тлел электрический волосок. Рядом со мной – потому что все здесь было рядом – стояла параша, похожая на термос, в котором в лагере носили баланду. С нар предупреждающе сказали:

– Камера на четверых, а лежат двенадцать.

– Некуда их! – сказал кто-то раздраженный. – Пусть стучат, пусть зовут переводчика!

Кто-то пожалел нас:

– Изобьют, и всё.

Но раздраженный сказал без всякой жалости:

– В тюрьму сами приходят!

Валька всхлипывал, и его в конце концов позвали. А мне сказали:

– Садись на парашу.

Не помню уж, сколько я простоял, пока на нарах не начали двигаться, шевелиться, и я втиснулся в эту грудку пиджаков и пальто, от которых мне запахло чем-то родственным. Лежали на досках, под голову пристраивали шапку, кулак или предплечье. Как только я устроился, нас спросили – давно собирались:

– Закурить не пронесли?

Я показал сигарету, которую мне дал парикмахер, сказал, как ее получил.

– Может, проникотиненная вата?

На сигарету приподнялись все. Кто-то, к моему удивлению – всех ведь обыскивали! – протянул мне затлевший трут. Сигарета не сразу загорелась, потом вата вспыхнула, и легкие резануло. Я хотел выбросить, но у меня взяли ее из рук, и кто-то раскуривал ее и раскуривал: когда вата вспыхивала, дул на нее, а потом опять осторожно тянул – надеялся, что откуданибудь начнется никотин.

– Да брось ты ее, – сказали ему. – И так воздуха нет!

Только в лагере я увидел людей, вот так безумно тянущихся к табачному дыму, все время озабоченных поисками травы, окурков, навоза – бог знает чего, что можно завернуть в бумагу и курить.

Валька спросил:

– Бить будут?

И тот же раздраженный, к которому я не мог присмотреться в темноте, сказал:

– А ты куда пришел?

Иногда казалось, что уже ночь, но отбоя все не было и все так же бесконечно тлел электрический волосок. Уже переговорили все дневные разговоры, и каждый лежал со своим голодом, и конца этому не было. Но все-таки, когда этого совсем уже перестали ждать, электрический волосок потускнел, наступила темнота и кто-то с облегчением сказал:

– Отбой.

Ему ответили:

– Еще день прошел.

Опять двигались, теснились, разом поворачивались с боку на бок, а когда все замолчали, заговорили двое. Это были взрослые мужчины, и они ругали себя за то, что они здесь.

– Вот не понимали! – говорил один.

И это «не понимали» относилось не только к войне, а ко всей жизни. И этого он не понимал, и того – всего, короче говоря, не понимал. И что лучше сдохнуть, чем попасть в плен, и что борщ когда-то надоедал.

– Я шофером работал, – говорил он. – Зайдешь в буфет, возьмешь сто пятьдесят, пива и пять пирожков «собачья радость». Дураки были!

Голос у него был ясный, не стесненный камерой или темнотой. Товарищ вторил ему сдержаннее. Оба были призывного возраста, и я догадался, что они беглые военнопленные. Должно быть, не я один об этом сразу же догадался.

– Спрашивает, – говорил о переводчике тот, который шофером работал. – «Где цивильное пальто взял? Украд?» Я говорю: «Немка подарила. Я ж, пока ты меня не бил, красивый был». Смеется. Веселый! В глаза посмотришь – как человек!

Я уже много раз видел таких веселых переводчиков (чаще всего это были именно переводчики). Они улыбались, как будто всё понимали или как будто улыбкой своей заранее заигрывали с обстоятельствами, которые могли поменяться. Должно быть, где-то у этих людей тлело представление о том, что называют нормальными человеческими отношениями. И свой природный, естественный, что ли, предел, который никак не соответствовал их нынешнему положению властителей жизни и смерти, они тоже ощущали. Они десятки раз переходили его, но ощущение предела от этого не стиралось. Может быть, им это даже нравилось – внутренняя жизнь их от этого делалась богаче.

– Говорит: «Отправим назад в лагерь. Тебя там ждут». Я спрашиваю: «Зачем так далеко? Все равно убивать будете».

Он произнес это так, будто не в первый раз об этом рассказывал. Сказал и сам к своим словам прислушался.

Второй соглашался:

– Зайдешь в столовую, на первое суп или щи, на второе гуляш. Картошку в сторону, мясо выберешь...

На нарах стало свободнее – они сели. Я слышал, как они дышали в темноте над нами. Только эти двое поднимались с нар без опасения. Мы получали передышку, тут же заполняли освободившееся место, но, когда они ложились, все с готовностью теснились и сжимались опять.

– Дураки были! – сказал тот, который говорил о поразивших меня пирожках «собачья радость».

Я уже видел в лагере людей, у которых представление о счастье сжимается до самых жалких размеров: маргарин, сигарета, день на больничном листе. Появляется свой азарт: украсть картошки, игра в карты. Неимоверно вырастает значение вещей, в обычное время совершенно незаметных. Собственным здоровьем гордятся, как заслугой, доходяг ругают. Объясняется это, видимо, грубостью инстинкта самосохранения, оправдывается же брезгливостью, которую у здорового человека вызывает доходяга. «Ты когда умывался?!» – кричат ему. А умываться в лагере непросто. Подниматься надо рано, значит, недосыпать. Умываль-

ник не отапливается, в умывальнике толкотня. Дневальный орет: «Вставай!» Дневальному перед работой надо подмести, убедиться, что все койки заправлены, а то придет проверяющий полицей, разговаривать не станет: опрокинет шкафчики, перевернет стол, повалит двухэтажные койки – убирайте как следует! К дневальному присоединяются те, кто характером пожестче. А к ним постепенно и те, кто и здоровьем послабее и характером помягче, кому жаль доходягу, кто сам по этой грани ходит. Им удивительно: они-то встали, умылись (так умываются дети, когда родители не смотрят: мазнули щеки холодной водой, вытерлись, а граница серой неумытой кожи изо дня в день становится все явственнее), койку заправили, ушли от унижения, а этот лежит, и ничто его не сдвинет с места. Человек пренебрегает и вашим гневом, и гневом полицаев⁵. Тех, кто не боится полицаев, лагерное общественное мнение ставит очень высоко. Но для доходяги это, пожалуй, еще и усугубляющее обстоятельство. Его равнодушие к собственной жизни растравляет соседей. «Да шевелись! – кричат ему. – Из-за тебя все пострадают!» В конце концов, никому не хочется, чтобы его шкафчик опрокинули. У кого-то там в миске вчерашняя баланда. Но и это не заставляет доходягу шевелиться. Собой пожертвовать – единственный способ для него насолить обидчикам... Нет, никто в лагере не хочет выглядеть доходягой. Вот и говорить стараются бодро. Я знал уже многие оттенки такой лагерной бодрости. Но у того военнопленного, который говорил о пирожках «собачья радость», голос был ясный, не измененный, я это очень хорошо чувствовал.

Потом я десятки раз слышал такие разговоры. Главная мука здесь была в том, что когда-то им не хватило знания. А то, что они знали сейчас, никаким другим путем узнать было невозможно. То есть они и раньше слышали и читали, но не то чтобы не верили, а поверить было невозможно. Надо было стать другим человеком. Все дело было в невысказанной полноте этого знания. Они не стыдились того, что попали в плен, – иступленно жалели, что когда-то выпустили из рук оружие. На фронте они дрались не хуже других и попали в плен, как обычные люди, которые, сделав все, что в их силах, остановились перед неизбежной и, главное, по-видимому, бессмысленной потерей жизни. Но в том-то и дело, что все потом было страшнее смерти. И не жизнь им было жалко, ее и так не было. Жалко им было знания. Они и ценили сейчас себя как людей, которые знают. Они считали, что знанию этому нет цены. Кому-то на фронте сейчас не хватает его, а у них его так много, что они наделили бы им всех. Они и бежали потому, что хотели сохранить это знание и принести его на фронт.

И еще в их разговорах была знакомая мне лагерная мука – они переигрывали поступки, которые уже нельзя было переиграть: «Если бы...»

Они ждали ночи, чтобы вот так обрутать себя и выговориться. Им никто не мешал, никто не пристраивался к их разговору. А я лежал и чувствовал одно: я во всем виноват, иначе не был бы здесь, на дне этой тюрьмы. Я думал о том, что упустил: должен был бежать – не бежал, собирался рискнуть – не рискнул. Я один знал, сколько раз все это упустил. Из того, что я не сделал, складывалась совсем другая жизнь. Каждую ночь я ее складывал заново. Все время возвращался к одному и тому же – один несовершенный поступок складывал с другим. Уходил с отцом на фронт (он не брал меня, но я его уговаривал), пристраивался к последней части, оставившей наш город. Я не придумывал себе эти поступки, которых я не совершил. Они жили в моей памяти. Когда-то они обожгли меня: надо прыгнуть из вагона – конвоир отвернулся, поезд тянет на подъем и лес близко. Но минута прошла, лес ушел в сторону, и конвоир смотрит. Я с места не двинулся, никто ничего не заметил, а я отравлен тем, чего не сделал. И вся эта отравка жила теперь во мне. Теперь я прыгал на ходу из вагона, бежал к лесу, добежал, находил партизан и опять возвращался к тому моменту, когда я должен был прыгнуть, и заново представлял себе, как я это делаю еще лучше, чем в первый раз.

⁵ Лагерная охрана из немцев.

Бегу петляя или, наоборот, остаюсь лежать в канаве и жду, пока пройдет эшелон. Я улучшал свои несостоявшиеся побеги, задыхался, радовался, мстил и чувствовал, как отравляет меня это бесплодное жжение мысли. Но остановиться было невозможно потому, что, как только я останавливался, я слышал спертую темноту камеры, кислый запах своего грязного пальто, которое я старался натянуть на голову. Ночами мне казалось, что уже тогда, когда я не делал того, что должен был сделать, я предчувствовал, знал, куда это меня приведет. И я ненавидел себя и думал: так тебе и надо! А потом думал совсем по-другому: если бы я знал! Это тоже была одна из неотступнейших мыслей. Об одном я почему-то не думал – не улучшал свой настоящий побег, не думал: «Надо было свернуть на эту, а не на другую дорогу...»

Еще я жалел маму, думал, что не слушал ее, раздражал, когда отца взяли в армию.

За ночь никто не поднялся к параше – боялись, что назад не втиснутся. В камере стало холодно, мы сдавливали друг друга, как в толпе, и, как вчера вечером, в темноте затлел электрический волосок – то ли ночь прошла, то ли его просто зажгли. Потом на двери грянул железом замок, и веселый переводчик крикнул:

– Выходи!

Вчера, когда я переступил порог камеры, я думал, что не дождусь этой минуты, а вот теперь выходить не хотелось.

– Выходи! Уборка! – будто сообщая нам что-то радостное, кричал переводчик, и мы стали выбираться.

В темноте я как будто бы перезнакомился со своими соседями, узнавал их по голосу, по тому, с какого места на нарах этот голос раздавался. А вот теперь нам почему-то было неудобно смотреть друг на друга.

Как здесь было светло и какая высокая неоштукатуренная стена была над нами! Переводчик привел с собой двух немцев заключенных, они принесли ведра и швабры. По тюрме шел утренний уборочный сквозняк. Меня била дрожь, и я сказал соседу, что моя одежда, как сито, стала пропускать холод.

– Это от дезинфекции, – объяснил сосед, а раздражительный сказал:

– Ночевали баран и козел на улице. Баран – здоровый же! – ночь прохрапел, а утром встряхнулся и говорит: «Ну и мороз!» А козел заблеял: «Он еще с вечера...»

Козел – это, конечно, я. Мне хотелось понравиться раздражительному, но по дну колодца тянул сквозняк и вверх по тюремному колодцу тянул сквозняк, и я никак не мог унять или изгнать из себя дрожь. Раздражительному надо было обязательно ответить. Если ты позволяешь, чтобы тебя безответно назвали козлом, жди, сразу же назовут еще как-нибудь похуже. Но раздражительный уже отвернулся, а нас с Валькой погнали выносить парашу. Я хотел заупрямиться – так это и принял: назвали козлом, и сразу же неси парашу, – но немец-уборщик подмигнул:

– Ком, ком...

И я подхватил бак за ручку. Немец-уборщик зашел с нами в туалет, прикрыл дверь и показал, чтобы мы не торопились:

– Лангзам, лангзам⁶.

И мы втроем простояли минут пятнадцать. В туалете было чисто, глаз отдыхал на белом кафеле, дверь отделяла нас от остальной тюрьмы.

Потом мыли коридор и камеру. Воду надо было лить прямо на нары, и я подумал: как же теперь лежать на мокрых досках? Однако после уборки повели нас не в камеру, а в прогулочный дворик. Тюрьма продолжала меня поражать – выход во дворик был из нашего подвального этажа. Нас провели цементным коридором на дно цементного квадратного колодца, вырытого в тюремном дворе. Стены колодца были отвесными. Несколько минут нам дали

⁶ Помалу, помалу (нем.).

походить от стены к стене, а потом заперли в коридоре. Это был вентиляционный ход. Со двора в тюрьму по нему тянул сильный сквозняк – двери, запиравшие нас со двора и из тюрьмы, были решетчатыми.

Ни в полиции, ни в тюрьме нас с Валькой не кормили. В свой самый первый лагерный день я отказался от баланды. Меня предупредили:

– Баланду не будешь жрать – не жилец. Хлеб раз в сутки.

Но я не мог планировать свою лагерную жизнь так надолго.

Баланда забалтывалась какой-то химической мукой. Бумажные мешки с этой мукой были свалены в открытом фабричном помещении, ее не охраняли – муку некому было красть, ее нельзя было есть. Гришкин хлеб тоже был каким-то техническим, из отбросов пивного производства, бурачного вкуса и жженого цвета. Но что-то хлебное в нем все-таки оставалось, и вся моя жизнь сосредоточилась на очереди к Гришкиному раздаточному окну. Это была очередь, в которой каждый голодный дожидался истощения, а каждый истощенный – крайнего истощения.

Какой голод в тюрьме, я понял, когда немец-парикмахер польстился на мои бурачные «русские» пайки.

Утром немцы-заключенные принесли нам четырнадцать белых эмалированных кружек (вернее, цилиндров – на кружках не было ручек) с пустым тепловатым кофе и по скибке хлеба тонкой машинной резки. Немцы узнавали кого-то, кивали мужчинам-военнопленным. Присутствие переводчика их как будто бы не очень стесняло. Хлеб нельзя было жевать – это мгновенно закончилось бы, его нужно было посасывать, не забывая при этом о других, чтобы не покончить с хлебом раньше, чем соседи. Смотреть на то, как едят другие, было бы невыносимо.

От кофе я отказался – вода эта, настоящая на жженой древесной коре, была горька и противна. Мне сказали:

– Согреешься!

Этого я еще не знал и не поверил, что теплой или даже горячей водой можно согреться.

Немцы-разносчики, возвращаясь после обхода камер, забирали кружки и выливали недопитый кофе в ведро. Они ушли, а переводчик на минуту задержался и бросил нам сквозь решетку зажженную сигарету. Я видел, как он доставал и прикуривал ее, почувствовал, что в камере ждали этого, и понял, что переводчик не в первый раз так делает.

Эта сигарета и то, как немцы-разносчики кивали нашим мужчинам-военнопленным, волновало меня. Мне казалось, что все это знаки тайной подпольной жизни тюрьмы.

Сигарета упала рядом со мной, но я не нагнулся за ней. Валька жадно схватил ее и затащил так, что, обнажая табак, сгорела немецкая трассирующая бумага. Но и Валька что-то понял, он протянул сигарету мужчине, который ночью говорил об удививших меня пирожках «собачья радость», и жалостно попросил:

– Оставишь?

Мужчина держал сигарету столбиком, чтобы все видели, как много Валька сжег. Окурок обошел человек шесть, и каждого Валька жалостно просил:

– Ну, хоть на затяжечку!

Последнему, шестому, он сказал:

– Выбрасывать будешь, кинь сюда.

И тот, отрывая окурок от потрескавшихся губ, сбросил его на цементный пол рядом с Валькой. Валька попытался поднять этот пепел и огонь, но он распался у него в руках. Тогда Валька стал на колени, и тщательно выдул пепел и табачные крошки за решетку, и пальцем растер следы на полу. Если попрошайничаешь, надо и услуживать.

Днем, надувая звуком, распирая тюрьму, загудела сирена воздушной тревоги. Мы ожились, стали прислушиваться. Но в тюрьме было тихо, и я подумал, что тишине этой может быть и десять, и двадцать лет. Потом торжествующе гудел отбой.

Говорили мало. Кто-то вспомнил, что с месяц назад отсюда брали на лимонадную фабрику бутылки мыть. Людей этих уже нет, их куда-то отправили, но лимонад они пили.

– На сахарине? – спросил Валька.

И раздражительный, дивясь его глупости, сказал:

– На меду!

А меня поразила сама мысль: из тюрьмы – на фабрику.

– А жили где? – спросил я.

– В тюрьме. Отсюда брали, сюда привозили.

Этого я все-таки не мог освоить, но спрашивать дальше не стал, постеснялся.

В обед опять появились больничной белизны эмалированные цилиндры с розовой водой и жидким осадком из свеклы и капусты на дне. Принимая из рук немца баланду, я думал, как же он меня узнает, если парикмахер что-нибудь с ним передаст. И никто меня не осмелел, когда я потом в камере рассказал о своих затруднениях. В тюрьме я быстро проходил путь к крайнему истощению, и надежды у меня стали появляться самые фантастические.

Вечером опять были те же эмалированные цилиндры с кофе и такой же, как утром, кусочек хлеба. Теперь мы ждали, чтобы нас перевели на ночь в камеру. Весь день я мерз в вентиляционном коридоре и уже не старался разогреться – сидел, не двигаясь, на цементном полу.

– Ты бы отвел нас в камеру, – сказал переводчику мужчина, который шофером работал.

И переводчик погрозил ему пальцем и заулыбался игриво, как будто его просили о чем-то запретном. В камеру он отвел нас часа через три после ужина. И темнота, и замкнутые каменные стены, и тлеющий электрический волосок, и согревающая теснота, и, главное, деревянные нары – все мне показалось теплым и уютным. Когда на двери камеры загремел засов и еще что-то звякнуло, я почувствовал, что меня отпустило: днем не вызвали на допрос, теперь до утра не тронут. Нары были еще сыроваты, но мы согревались теснотой. А ночью, после отбоя, опять заговорили те же мужчины. Они кляли себя за то, что они здесь, вспоминали, какая еда была до войны, и было в упорстве, с которым они говорили о еде, что-то болезненное, бредовое, и мне хотелось крикнуть им, чтобы они замолчали, заткнулись наконец, оставили нас в покое, дали мне подумать о своем, потому что, пока они говорили о еде, думать о своем было невозможно. Но я не мог им так крикнуть. Я уважал их за взрослость, за то, что они бежали из лагеря военнопленных – их даже немцы-разносчики выделяли, а они-то всякого навидались, – и лежал молча.

И раздражительного я уважал. За выражение бодливости, безжалостности и независимости на смуглом коротконосом лице. За то, что не в первый раз бежит, за то, что побывал в лагерях Эссена и Дюссельдорфа и еще в двух-трех больших немецких городах. За то, что не искал, как я, к кому бы присоединиться, а держался самостоятельно. И на вопросы отвечал без страха, не темнил, как другие. В эту тюрьму его привезли из Франции. Такой предприимчивости и смелости я и представить себе не мог. Бежать в страну, в которой никто слова твоего не поймет, – о таком пути на фронт или к партизанам я тогда услышал впервые. В сорок четвертом году в развалинах разбомбленного Эссена было много русских. Полиция устраивала на них облавы и расстреливала на месте. Но этот был первым, которого я увидел. Правая рука у него была короткопалой – на пальцах не хватало фаланг, будто их разом обрубили. От этого она будто стала только ухватистой и быстрой. И улыбка у него была мгновенной, быстрой и уверенной, как его короткопалая рука. Улыбнулся – и сразу же опять выражение замкнутости и бодливости на смуглом лице. И ощущение после его улыбки такое –

то ли он тебе улыбнулся, то ли пригрозил. Переводчик как-то на него накричал. Раздражительный посмотрел на него по-своему и то ли улыбнулся, то ли зубы показал.

– Кукиша я тебе не могу соорудить, – сказал он. – Пальцев не хватает.

Мы все замерли, а раздражительный, все так же улыбаясь, смотрел на переводчика. Несколько секунд это длилось или несколько минут, не могу сказать. Но, когда переводчик первым отвел глаза и, будто ища у нас сочувствия, укоризненно покачал головой, раздражительный был совершенно спокоен. Будто это опасная игра не потребовала от него напряжения.

– Танкист? – спросил, указывая на обрубленные пальцы, тот, кто шофером работал. И раздражительный ответил ему своей улыбкой. В камере он один мог вдруг развеселиться. Правда, веселость стекала с него быстро. Расслабился человек, но зорко следит за вами. После стычки с переводчиком кто-то попытался продолжить шутку:

– Покажи кукиш!

Раздражительный улыбнулся, даже обрубками своими пошевелил, но так взглянул на шутника, что шутку никто уже не повторял.

Когда переводчик бросил в камеру сигарету, мужчины-военнопленные окурочку передали раздражительному. Он сказал:

– Не курю.

За окурочком следили все, и все ждали, что его передадут раздражительному. Но он сказал: «Не курю», – и это можно было понимать как угодно.

Вечером тот, кто передавал окурочку, заговорил обиженно о том, что вот есть люди, которые не хуже других лагерную баланду едят, а воображают о себе бог весть что.

Раздражительный даже не посмотрел в его сторону. Вообще в камере он был как бы сам по себе, не набивался в компанию к военнопленным и разговоров о еде не поддерживал. Он был сосредоточен на том, что было за пределами камеры. Я чувствовал, что он не мог бы вести такие разговоры, как мужчины-военнопленные: чего-то раньше не знал, а теперь знает всё. Он и раньше знал, и теперь знает. Окажись он на минуту за пределами тюрьмы, он тут же сделает то, на что все время нацелен. В вагоне, в толпе, в бараке я уже привык выделять для себя таких людей, старался держаться к ним поближе, стремился поступать как они. Но они не замечали меня, выбирали себе других напарников.

Слишком настойчиво тереться возле них было опасновато. Они могли обидеть, были безжалостны даже к тем, кто выражал им явную симпатию.

– Убери ноги! Сто лет не мыл.

Будто тут можно, когда хочешь, пойти в баню.

Но у них было главное – они не удивлялись, не теряли энергию и в каждый момент знали, что делать.

Существовали, оказывается, какие-то правила для людей, попавших в наше положение. Кто-то до нас попадал в эти лагеря, в эту тюрьму, в эту камеру. Я бы ничего не знал об этих правилах, если бы не такие, как раздражительный. Всегда в вагоне, в бараке, в камере находился кто-то, кто эти правила знал лучше других. Кто этот человек, выяснялось очень скоро, хотя и в бараке, и в вагоне оказывались люди, не знавшие друг друга. Просто не я один искал, на кого бы опереться. Не всегда такой человек отыскивался с первого раза. В камере самыми авторитетными я вначале считал мужчин-военнопленных. И только потом почувствовал, что раздражительный сильнее их. Он ничего им не говорил, но я видел, что он осуждает их за разговоры о еде. Он не перемигивался с немцами-разносчиками, как мужчины-военнопленные, а, не глядя и на переводчика, и на немцев разносчиков, брал изуродованными пальцами эмалированный цилиндр, ставил его на цементный пол, доставал ложку, вытирал ее, и было видно, что обрубленные пальцы все-таки затрудняют его. В вентиляционном коридоре, куда нам приносили баланду, было тесно, но все старательно освобождали

место на полу для цилиндра с баландой раздражительного. К немцам-разносчикам он подходил последним, не заглядывал в бак, не тянулся за эмалированной кружкой, а ждал, когда ему подадут, и был глух к шуточкам переводчика о баланде, которую тот называл «щи», «борщ», «суп». Он не заговаривал с немцами, не поднимал на них глаза, но во всем, что он делал, как морщился, как неохотно поднимался с нар или пола, был ясно виден вызов.

– Чего лезть на рожон? – сказал тот из военнопленных, который был посдержаннее.

И я тоже со страхом ждал, чем это кончится. Боялся, что немцы его избыют, сломают и он уже не сможет так себя вести. И в эшелоне, и в пересыльном лагере мне уже случалось видеть, как избивали и ломали тех, кто лез на рожон. И они потом уходили в тень, переставали утверждать правила поведения в лагере, потому что эти правила можно утверждать только собственным поведением. Сам я не лез на рожон потому, что не чувствовал у себя сил для этого. И, конечно, мне хотелось, чтобы стычка произошла и чтобы раздражительный вышел победителем, потому что недоказанный вызов – я уже понимал это – недорого стоит. Однако прорвалось не совсем так, как я ожидал. В тот день раздражительный, как всегда, подошел за баландой последним. И всего-то он сделал – чуть позже встал, чуть медленней подошел, чуть ленивей, чем надо, протянул руку за кружкой. Но повторялось это каждый день, и немцы следили за ним. Они тоже готовились. Немец-разносчик выругался: «Свинья», – колыхнул половником и налил баланду в кружку. Раздражительный взглянул на него со своей улыбочкой.

– Ты что же, гад, налил?

Немец вспыхнул – уловил интонацию, – о чем-то спросил переводчика. Переводчик кивнул. Бак разделял раздражительного и разносчика. Немец был в фартуке, в синем тюремном комбинезоне, лицо его покраснело. Он замахнулся алюминиевым половником, а раздражительный приготовился плеснуть в него баландой. В глазах раздражительного не было страха, напротив, в них появилась странная веселость. И только побледнели пальцы, сжимавшие эмалированный цилиндр. Переводчик с видимым интересом ждал. Немец-разносчик отклонился, а раздражительный вылил баланду в парашу. Переводчик побледнел. Валька сказал:

– Лучше бы мне отдал.

У меня тоже была минута отчаяния, когда я увидел погибающую еду. Немец-разносчик сказал что-то злорадное и наставительное. Похоже, что он был полностью удовлетворен. Больше того, получилось даже лучше, чем он ожидал. Он захлопнул крышку термоса, захватил ее зажимами – и все это демонстративно, громко. С шумом захлопнули нашу решетку, закрыли ее на замок. Переводчик, опять словно обращаясь к нам за сочувствием, показал на голову – сумасшедший! И немцы ушли.

Я видел, что отчаяние, которое у меня вызвала погибшая еда, затронуло всех. Валька спешно допивал из кружки свою жидкую баланду. Кто-то еще поторопился. Но остальные ждали. За выходку раздражительного надо было расплачиваться всем. И не все этого хотели. Теперь мы смотрели на мужчин-военнопленных.

– Из-за чего сыр-бор? – спросил тот, кто шофером работал.

– Гнилая картошка, что ли, – сказал раздражительный.

– Да там все гнилое, – сказал военнопленный. Он с сожалением посмотрел в свою кружку, поболтал, отпил еще, прикинул, сколько осталось, и сказал нам:

– Сливайте!

Но раздражительный закрыл его кружку рукой. От баланды он отказался.

Смысл такого ежедневного опасного, изнурительного и, по-видимому, не достигающего никакой цели самоутверждения я понял потом, но и тогда я был полностью на стороне раздражительного. О Германии он говорил так, будто это и не Германия вовсе. Будто не на каждом шагу здесь немцы, русскому и ступить нельзя. Я бы разбился для него в лепешку,

если бы он сказал мне: «Ляжешь рядом». Всюду пошел бы за ним, но шансов у меня не было. Он обижал Вальку и покрикивал на меня, сдвигал с места, которое ему понравилось, и вообще словно ревновал нас, сопляков, к тюрьме, в которую мы, по его мнению, попали без достаточных для этого оснований.

Еще в камере были четверо пацанов лет по шестнадцати-семнадцати, к которым мне хотелось прибиться. Но они держались замкнуто, на вопросы отвечали односложно и даже между собой старались не очень разговаривать. Они тоже откуда-то бежали и, судя по всему, старались держаться вместе, чтобы опять, как только представится возможность, бежать. План у них был такой: забраться в воинский эшелон, который шел на восток, и продержаться без еды неделю или больше, пока эшелон не пересечет границу. Это был и наш с Валькой план – забраться в какой-нибудь вагон с военной или строительной техникой и сидеть там, пока не привезет.

Вопрос был в том, как найти такой эшелон, как найти станцию, на которой он стоит, как пройти на эту станцию и еще многое в таком же роде. Но тут уж мы просто полагались на счастье.

Но и прибиться к пацанам у меня было мало шансов. Что я мог им предложить? Ни физической силы, необходимой в таких предприятиях, ни выносливости, ни просто общительного характера.

И еще я думал, что мне страшно не повезло на мои пятнадцать лет. Я был высоким и тощим. «Цу лянг, абер цу дюн»⁷, – сказал врач в пересыльном лагере. Этот мой очевидный недостаток силы при высоком росте был почему-то всем несимпатичен. И я все время перенапрягался: брал больше, чем мог понести, старался казаться храбрее, чем был на самом деле. Будь я на год или два старше и сильнее, думал я, все было бы по-другому.

В воскресенье нас на весь день оставили в камере. Утреннего хлеба в воскресенье не полагалось. Зато в обед в наших эмалированных кружках-цилиндрах нам дали немного чисто сваренной картошки. Картошку принесли в термосе-параше, мы видели его цинковую внутренность и следили за тем, как немец-заключенный брал парующую картошку черпачком, высыпал ее в кружку, а кружку стряхивал, чтобы убедиться, что картошка как раз покрывает дно. Кружку он передавал напарнику, и тот поливал картошку ложкой соуса-концентрата.

Никто не хотел брать первую кружку. Казалось, что немец только первую порцию положил так скупно.

Больше на воскресенье ничего не полагалось.

Прошло дней десять, а переводчик ни разу не называл ни Валькину, ни мою фамилию. Ни в камере, ни в коридоре он нас не замечал. По-моему, он нас даже забыл, потому что, когда он все-таки пришел за нами и выкликнул Валькину фамилию, он некоторое время ждал, кто на нее откликнется. Вальку повели первым, а я изо всех сил старался подготовиться, справиться с лихорадкой, но чувствовал, что времени у меня совсем нет. Мне попадало вдогон, в толпе, на пересчете – специально меня еще не били.

Когда Валька вернулся, я увидел его распухшую, как будто вывернутую губу. Он всхлипывал и осторожно пробовал ее нижней губой. Брюки его были мокрыми – его били, и он обмочился. На ладонь он сплевывал розовую слюну и трогал ее пальцем. Раздражительный подмигнул мне и пошевелил обрубленными пальцами – мол, и похуже боль бывает.

Повели меня. Я шел за переводчиком и от голода, страха и отвычки никак не мог подняться по лестничным ступеням. В канцелярии я перешагнул порог и остановился. Но, видно, это место было чем-то неудобным для немцев, и переводчик показал мне:

– Стань сюда.

⁷ Длинный, но тонкий (нем.).

Я стал. Переводчик усаживался за стол, два других немца сидели за своими столами, о чем-то говорили, а на меня едва взглянули. Потом один из них слегка повернулся ко мне.

– Если ты будешь говорить неправду, – сказал переводчик, – тебя будут бить.

Я видел, как в таких случаях поступают блатные пацаны: чтобы отвести или уменьшить побои, они начинают всхлипывать, плакать в голос, притворно кричать, едва на них замахнутся. Унижен тот, кто одурачен, считают они. И вдвойне дурак тот, кто просто дает себя избить и не пытается от этого как-то уйти.

Я хочу сказать, что эта мысль пришла и мне. Я бы всхлипнул, если бы умел. Но у меня все равно не получилось бы. Да и сама эта мысль была страшней и противней, чем ожидание побоев.

– Откуда бежали? – спросил переводчик.

Я не знал, на кого важнее смотреть, на переводчика или на немца, повернувшегося ко мне. Я боялся совершить оплошность.

– Не знаю.

Я сказал, что в Германии недавно и плохо запоминаю немецкие названия.

– Не знает немецкого языка, – сказал переводчик немцу.

В канцелярии пахло комнатой: комнатным теплом, стенами, деревянными полами, дневным светом, проходившим сквозь оконные стекла. Я уже привык к подвальному или коридорному тюремному освещению, довольно сильному, но безжизненному. К электрическому свету, отраженному от голых плоскостей, от цементного пола и крашенных в серое стен.

– А где работали? На фабрике? Что делали?

Я сказал, что работали в литейном цеху, возили тачки. «Литейный цех» переводчик не понял, несколько раз переспрашивал, примерялся к этим словам. Наконец перевел немцу:

– Делали мины.

– Почему бежали?

– Тяжело было, – сказал я и сразу же подумал, что совершил оплошность, что после этого ответа – «Тебя зачем сюда привезли?!» – меня и начнут бить. Но переводчик ровным голосом перевел:

– Тяжело.

Он не очень-то говорил по-русски, но и немецкие фразы его были совсем просты. Я сам мог бы так объясниться.

Они помолчали, а второй немец, который за весь разговор ни разу не поднимал на меня глаз, теперь взглянул мельком.

Переводчик сказал:

– Работа тяжелая? Кормили хорошо?

Я стал рассказывать, и мне показалось, что переводчик слушал с каким-то интересом, что-то к чему-то примерял.

Но тут второй немец, даже не задев меня взглядом, повернулся к переводчику и сказал ему что-то.

– Иди в камеру, – сказал мне переводчик.

И вот тут-то я и почувствовал по-настоящему, как в канцелярии пахнет обыкновенной комнатой, столами, бумагами, комнатным воздухом. Как на стульях за столами сидят эти три немца. Переводчик поднялся, чтобы отвести меня, и я еще подумал, что он меня ударит, но он прошел к двери. Теперь я знал, что произошло с Валькой – он весь был так сосредоточен на страхе, на ожидании, что все остальное у него расслабилось. И со мной бы это могло произойти, и я бы ничего не почувствовал.

Я спускался за переводчиком на дно тюремного колодца и думал, что о кинжале меня еще не спросили.

Ночью я, как всегда, проснулся от холода, от тесноты, оттого, что затекла рука. Ноги кто-то придавил, но теснота уже не согревала. Надо было встать к параше, но и это было невозможно – назад я бы не втиснулся. Спасение было в том, чтобы поскорее задремать, но сон рассеивался. Его вытесняло привычное отчаяние, особенно острое в момент пробуждения. Дашь ему себя захватить, больше не заснешь. Я еще сопротивлялся, но в камере разговаривали, кто-то даже засмеялся, и я прислушался.

– Я ему говорю: «Тише ты! Я сам боюсь!»

Говорил раздражительный. Он рассказывал, как бежал из лагеря, ночевал в мусорном ящике на вокзальной площади, а его случайно обнаружил во время обхода железнодорожный жандарм. Жандарма раздражительный схватил за горло, тот закричал, а раздражительный ему сказал: «Да тише ты, я сам боюсь!»

– Ты все-таки поосторожнее, – сказал тот из военнопленных, который шофером работал. – Все свои, но не дай бог...

Они завздохали, а я подумал: разговорились все-таки. Сошлись. То всё держались отчужденно, а теперь легли рядом.

Раздражительный сказал с силой:

– Думаешь, им интересно, кто я, кто ты? Видел, какой переводчик? Я по-немецки лучше говорю, чем он по-русски. И везде такие переводчики – я их уже повидал. Если из немцев, по-русски десять слов знает. Если русский какой-нибудь придурок, по-немецки лыка не вяжет. Если бы им нужен был ты или я, разве у них такие переводчики были? Ты знаешь, что с нами сделают?

– А ты?

– Знаю! Пацанам как повезет. А нас в концентрационный лагерь. А там больше трех месяцев редко кто выдерживает.

И он стал рассказывать, как встречают новичков в концентрационном лагере.

– Понял? – сказал он. – В тюрьме и не бьют особенно, и не допрашивают. Бить будут в концентрационном. Там этим специально занимаются. Здесь тебя без еды выдерживают. Чтоб не то что бежать – ходить не мог. А в концлагере все только бегом. Думаешь, тут от тебя признания ждут? Если бы ты и захотел признаться, вам бы третий переводчик понадобился. Они не признания твоего ждут, а разрядки, куда тебя послать. У них система! Я, ты, он, они – всем одно и то же... С признанием или без... Не об этом надо думать. Бояться уже поздно. Тут надо зубами...

Они перешли на шепот, а я думал, что наблюдения раздражительного, совпадают с моими. В лагере, из которого я бежал, переводчиком был Гришка-старшина.

И еще несколько дней нас держали в камере и в вентиляционном коридоре, а потом – «Быстрей, быстрей!» – погнали наверх, в канцелярию, собираться. Четырех пацанов, державшихся вместе, Вальку, меня и еще троих куда-то увозили. В канцелярии переводчик доставал из шкафа ящички с нашими вещами и ставил их на стол. Я поразился – все в ящичке было цело. Я сунул в карман свои девять марок, коробочку с сахаром, мыло в истлевшей и налипшей бумажной обертке и – была не была! – свой кинжал. Нас было много в канцелярии, и я как будто бы сумел это сделать незаметно. Но сразу же мне стало страшно. И, пока мы шли по тюрьме, переходили сквозь подворотни внутренних дворов, садились в машину, ожидали, пока разогреется газогенераторная печка этого грузовика, я думал, что вот-вот нас перед выходом из тюрьмы в последний раз обыщут.

Все мы были возбуждены, начиналось что-то новое. Кто-то сказал:

– Долго нас они и не собирались держать. Одежду оставили.

В камере тоже говорили об этом. Не выдали тюремные спецовки – долго держать не собираются. Но в камере просто ни во что не веришь. А тут мы уже сидели в грузовике, и газогенераторная печка его заставляла рычать разогревавшийся мотор. В кузов заглянул

немец, пересчитал нас еще раз, и грузовик вошел в подворотню. Тут в кузов к нам снова заглянули, и мы выехали в город.

Кто-то пожалел:

– А этих мужиков, наверное, в концлагерь.

Кузов грузовика был открытым, в кабине сидели шофер и какой-то штатский немец, который принимал нас в тюрьме, и мы думали, что нас-то, наверно, не в концлагерь везут. А мужчины остались в этом ледяном вентиляционном коридоре, в голодной камере с тлеющим электрическим волоском, со своими безумными уже разговорами о еде. Голод они переносили тяжелее всех нас, да и в тюрьме сидели дольше.

Везли нас булыжными окраинными улицами мимо фабричных заборов и ворот. И мы гадали: может быть, сюда или вон туда, подальше.

Грузовик въехал в обычные фабричные ворота. Двор был не очень большой, мощный булыжником, на булыжнике лежало в штабелях резанное по одинаковой длине железо: уголковое, металлические арматурные стержни, полосовое. Широкие цеховые двери были открыты, и в цеховой темноте нам из грузовика был виден крюк мостового крана. Крюк был массивный, и я подумал: неужели сюда? Работа голодная, железная!

Немец, принявший нас в тюрьме, скомандовал. Мы спрыгнули, открыли задний борт и стали грузить железо, которое нашему немцу отсчитывал фабричный немец в рабочей спецовке. Мы догадались: везут нас в другое место, а по дороге и грузовик, и нас используют. От голода и слабости мы страшно испачкались и устали. Потом мы уселись на железо, и грузовик тронулся.

Город остался позади, и в дороге мне почудилось что-то знакомое. И даже эти газогенераторные печки по бокам широкой кабины, делавшие грузовик присадистым, непривычно широким и медлительным, я как будто видел не в первый раз. И в немце, принимавшем нас в тюрьме, я стал находить что-то знакомое. Я еще надеялся, но грузовик въехал в первые улицы городка, и я узнал дорогу, по которой нас гоняли из лагеря на фабрику, узнал магазинную вывеску с изображением желтой булки. Я нагнулся в кузове, чтобы меня не увидели, может быть, грузовик все-таки проедет городок насквозь. А когда машина остановилась и я выглянул, мы уже стояли перед лагерным зданием.

4

Чем лагерный двор отличается от соседних дворов? Тот же булыжник, тот же пригтовленный к вывозу шлак от печей, те же царапины на штукатурке. Просто лагерные так долго и так пристально разглядывают, что на булыжниках и штукатурке остаются следы от взглядов. И от моего взгляда здесь уже был след – на этой трехэтажной бывшей фабрике с решетками на окнах, с дверью, которую специально заузили, когда готовили здание для русских.

– Э-э! Лос!⁸ – сказали нам, и я догадался, что надо выгружать железо.

Недолгая эта работа, однако, скоро перестала нас защищать, и полицаи повели нас в лагерное здание. Я ждал, когда у входа в вахтштубу нас с Валькой схватят, но вели прямо на второй этаж.

Я сразу увидел свою койку – она была первой во втором ряду от стены.

Полицай велел нам разобрать стопку красных штампованных мисок, которые ждали нас на столе.

– Суп, – сказал он, – ны?

Когда мы поднимались, я видел в коридоре термосы, в которых привозят с фабрики баланду ночникам и больным. По натекам на краях термосов мы догадывались, какую баланду привезли.

За баландой на фабрику Гришка отправлял двух желающих. А привозили термосы в двуколке с высокими колесами, которой управлял француз-военнопленный. По простоватому и даже придурковатому крестьянскому лицу этого француза было понятно, почему немцы доверили ему лошадь с двуколкой и почему выпускают его ездить по городу без конвоира.

Опорожненные уже термосы гремели, когда Гришка их наклонял. Помятые их края были в наплывах из тростниковой муки. Алюминиевый половник-мерка не выгребал снизу – был для этого широковат, – и Гришка легко брал многоведерный термос в руки и сливал из него остатки в тот же половник. Он обращался с термосами как человек, совершенно не заинтересованный. Мою миску взял так же слепо, как и миски других. Два человека, которые привезли баланду, стояли в стороне – ждали, когда Гришка отдаст им пустые термосы. Они, конечно, надеялись, что Гришка что-то оставит им за работу. Но Гришка, не обращая на них внимания, выливал всё. Этим двум останется только налипшая слизь по бокам и на дне. Они ее выскребут, вылижут, а термосы вымоют и снесут к дверям.

Несмотря на голод, в лагере было мало добровольцев на такую работу. И эти двое стояли в стороне, ели Гришку глазами и тотчас унесли термосы, как только Гришка с грохотом поставил их на пол.

Мы сидели за столом, когда на второй этаж пришли Гришка и полицай.

– Гриша, матрацы, – сказал полицай.

Теперь новички окончательно догадались, кто такой Гришка, и этот момент узнавания Гришке был неприятен. Выпуклые глаза его остекленели. Он никогда без нужды не выходил из своей раздаточной и пайки выдавал молча, не отвечая здоровающимся. И сейчас он повернулся к нам спиной.

– Матрацы набивать.

Я двинулся со всеми, но у самых дверей Гришка сказал:

– А ты, семьсот шестьдесят третий, на свою койку.

⁸ Давай! (Нем.)

Ни я, ни Валька до сих пор не сказали ребятам, в какой лагерь нас привезли. Была безумная, детская надежда, что нас не узнают. Теперь скрывать было нечего. Валька пошел к себе, а я сел на свою койку. Сидеть было неудобно. Боковые доски высоко поднялись над сплюснутым матрацем, резали ноги. И вообще всё, что когда-то было в этой койке мое, всё, что от меня на нее перешло – на соломенную подушку, матрац и одеяло, – за эти десять дней выветрилось полностью. За эти десять дней она простыла. От одеял пахло холодом и абрикой, от тонкого матраца, от досок под ним тянуло холодом цементного лагерного пола.

Никто за это время не пытался мою койку занять, она стояла на самом виду. Ни от полицаев, ни от Гришки, ни просто от любопытных на ней не укроешься.

С койки мне была видна лестничная площадка – по лагерным правилам дверь нельзя было закрыть.

Я сидел в пальто. Из глубины кочных рядов на деревянных подошвах мимо меня прошел ночник. Чтобы не прерывать сна, он кутался с головой в одеяло. Он клацал своими колодками вниз, потом зацокал, поднимаясь вверх. Я прилег на койку, но он увидел меня.

– Чекай, чекай! – сказал он. – Але ж ты утик! Шо ж с тобой зроблят?

Ко мне подходили еще. Подошел глупый, шумный, добрый Стасик, постоянно надующийся от крикливой храбрости. Даже лагерь не научил его говорить тише. Глаза у него навывкате, и выражение такое, будто он их тарасит, прежде чем закричать погромче: «Убьют тебя? Да?»

Я был как раз в том возрасте, когда потребность в любви и доверии во мне была особенно сильна. Лагерь страшно обострил эту потребность. Оторванность от дома превращала ее в сильнейшее страдание. Я, конечно, знал, как важно быть независимым, но все равно привязывался к тем, кто был поближе. Несколько довольно жестоких уроков оставили в моей памяти след, но не сделали осторожнее – слишком много лихорадочного нетерпения было в моей потребности. Я уже сам считал ее слабостью, догадывался, что из-за нее такие, как раздражительный, не берут меня в товарищи, придумывал себе самостоятельное выражение лица, по которому узнаются люди мужественные, но ничего у меня не получалось. Кое-какой опыт у меня уже был. Я мог уже заранее догадаться, какие неприятности принесет мне моя очередная торопливая привязанность, но и это не останавливало меня. Иначе тоска по дому задушила бы меня. Тоске по дому, любви к матери уже некуда было разрастаться, но росли они стремительно, а вместе с ними росло чувство вины, которую, казалось, невозможно искупить. Это было, как у тех мужчин в тюрьме, чувство, которое трудно выразить или, вернее, исчерпать словами. Здесь не было жизни, а жизнь была там. И смысл жизни был там. Теперь он казался предельно ясным. И в этой ясности вся моя прошлая жизнь казалась недостойной, и, как те мужчины в тюрьме, я казнил себя: «Какой я был дурак!»

Среди моих мгновенных привязанностей были и такие, которые возвышали меня. Люди эти часто не замечали меня совсем и, уж конечно, ничего не знали о моей привязанности. Но это не мешало мне хранить им верность, пока мы были в одном вагоне, в одном лагере, и держать их в памяти, когда лагерные обстоятельства разводили нас. В эшелоне это был Юрка Ростовский – красивый, остроумный, открытый парень лет семнадцати-восемнадцати. Товарищ звал его Юроном. Лицо товарища мне не запомнилось, время совсем стерло его, а Юрон в памяти моей день ото дня делался красивее, остроумнее, храбрее. Я мечтал с ним встретиться и рассказать, как догадался, что они с товарищем собираются бежать. Это было совсем не трудно, мысль эта была у всех, к тому же они почти не замечали меня, а я не выпускал их из поля зрения. Дважды я набирался смелости, чтобы попроситься с ними, но мысль, что я таким образом посягну на чужую тайну, удерживала меня. К тому же каждый раз я встречал неузнающий, непонимающий взгляд. На следующий день после того, как бежали они, я тоже убежал, но был задержан станционным полицаем как отставший от эшелона.

Потом был Гришка по кличке Часовщик из пересыльного лагеря. Он ударил замахнувшегося на него полицая и долго отбивался, когда немцы насели на него. Был Федя из Минска, который испортил себе ногу – неизвестным мне способом посадил на нее устрашающую язву. Добивался, чтобы его отправили домой. Не работал, острил: «Врач спросит, какая нога болит». – «Вот эта!» – и он изо всех сил топал больной ногой.

Теперь это был раздражительный. Он вытеснил или очень сильно потеснил всех остальных. Я вспоминал его словечки, быструю улыбку, решительность, ухватистую руку с обрубленными пальцами, его ежеминутную готовность к сопротивлению. Вспоминал несколько уроков, которые он, сам о том не думая, дал мне: баланду, вылитую в парашу, его безжалостность к себе и ко всем остальным: «В тюрьму сами приходят!» То, что он отчетливо представлял себе свою судьбу – концентрационный лагерь, в котором редко кто три месяца выдерживает. Я жалел, что меня забрали из тюрьмы, я мог бы еще быть с ним, и – кто знает! – может быть, он сказал бы мне однажды: «Ложись рядом!» Мысли о раздражителем были отвлекающими и укрепляющими. Я специально сосредоточивался на них. В лагере нас с Валькой должны были избить, и я искал то, что помогло бы мне справиться с ожиданием и хоть как-то обрести душевное равновесие. Я уже знал, что здесь, где боль и голод постоянны, самое первое условие самоуважения – не жалеть себя. Топнуть больной ногой и засмеяться: «Вот эта!» Иногда мне думалось, что я чему-то научился, но сейчас я чувствовал, что боюсь боли и унижения.

И еще было одно, в чем я угадывал силу раздражительного и за что уважал его: он не хитрил мыслью сам с собой, не фантазировал, как я или даже мужчины-военнопленные. Он точно знал, что ему предстоит, и даже в мыслях своих не позволял себе от этого уклоняться.

А я хитрил мыслью сам с собой, открывал дорогу фантастическим надеждам, искал фантастические выходы. Надеялся, как все мы тогда, на какой-то воздушный десант.

...С благодушным, уже привычным мне покровительственным интересом подошел Петька-маленький. Не только франтоватая спецовка, но сама кожа его была чиста потому, что он работал в хорошо освещенном воздухе механического цеха. Петька был из тех людей, которых в лагере замечаешь прежде всего. Его любимое место – лестничная площадка между первым и вторым этажами. Отсюда можно заметить полицая, выходящего из вахтштубы. Здесь Петька перехватывал женщин с третьего, семейного этажа. Идешь по лестнице в уборную – Петька-маленький стоит, опершись спиной о стену. Поднимаешься – и поза та же, и улыбочка. И еще тебе посветит золотым зубом. И женщина от него не отходит, стоит спиной к проходящим. Блеск золотого зуба Петька-маленький по своему желанию то усиливает, то ослабляет. То это холодноватый металлический блеск, то масляный. Если полицай захватит Петьку с женщиной, Петька-маленький умильно посветит ему своим золотым зубом. Сам потом об этом расскажет, покажет, как улыбнулся, как сказал: «Герр Альтенфельд, герр Клемериус». И в рассказе этом будет важно и то, что Петька точно знает, как зовут полицейских, и то, что сами полицейские знают, как его зовут и какая кличка прибавляется в лагере к его имени.

На втором этаже у нас жили несколько поляков. Составленные в ряд банные шкафчики из прессованного картона отделяли наши койки от двухэтажных коек поляков. Поляки за своими шкафчиками держались обособленно и даже к печке выходили редко. Пайки они получали у Гришки, образуя свою маленькую очередь. Хлеба они получали больше, и чуть весомей у них была недельная пайка маргарина.

На «русской» половине почти не было здоровых мужчин призывного возраста, большинство подростков и совсем пожилых. Петька-маленький был исключением. Ему было лет девятнадцать-двадцать. Он любил сидеть у поляков потому, что всякий закуток в лагере сам собой становился привилегированным, и еще потому, что поляки были взрослыми мужчи-

нами. Разговаривал он с ними на смеси польского и немецкого, но чувствовалось, что ни польского, ни немецкого Петька не знает. Только зубом масляно светит.

Однажды и я решил заглянуть за польские шкафчики. Петька был там.

– Тебе чего здесь? – спросил он меня с такой мгновенной неприязнью, будто давно проникся ко мне отвращением и наконец дождался, чтобы высказать его мне. Меня поразила эта мгновенная и будто бескорыстная враждебность: получалось, Петька защищал поляков от моего вторжения. А я ведь и рискнул сюда войти потому, что увидел Петьку-маленького. Я привык судить о нем по его постоянной ласковой улыбочке.

Увидев, что я замялся, Петька двинулся ко мне с выражением непреклонной, враждебной готовности. Я был «малолеткой», и Петька ожидал от меня послушания. Я бы и ушел, но теперь это было невозможно. Я сделал шаг вперед и по тому, как меня залихорадило, по тому, как перестал видеть боковым зрением, почувствовал неизбежность драки.

– Иди отсюда! – сказал Петька, а я, опасаясь, что он сейчас меня ударит, схватил его за голову. Я гнул его к полу, а он быстро тыкал снизу меня кулаком. Я сильнее гнул его навстречу этим тычкам. Мы распались, и на Петькино лицо постепенно вернулась улыбочка. Он раскраснелся, ни одной царапины на нем не было. А мой глаз затягивало. Это озлобило меня, сделало отчаянным. Петька, конечно, был старше и сильнее, но мой высокий рост делал мое поражение смешным. Я сел на табурет, с которого, когда началась драка, встал поляк, и старался скрыть, что запыхался и ноги мои подрагивают. Новую драку я не начал, но показывал, что не уйду. Ко мне вернулось боковое зрение. Я следил за Петькой и с непонятным самому себе разочарованием видел польские койки и шкафчики. Все было как у нас: те же двухэтажные нары, банные шкафчики, цементный пол и серый соломенный казарменный свет. Только еще более сумрачный – дальше от окон и лампочки.

Стыд, который я испытывал с самого начала этой сцены, становился все сильнее, и, высижив несколько минут, я ушел.

От сочувствия, которое вызывал мой синяк, я старался всячески укрыться. А кто-то сказал осуждающе:

– Бей свой своего, чтобы чужой и духу боялся.

И смысл этой поговорки впервые открылся мне. Мне тогда вообще впервые открывался смысл многих поговорок, которые до этого нераскрытыми зацеплялись в памяти. И моему еще детскому сознанию смысл этот казался старинным, темным, как тени на иконах, которые мне иногда приходилось видеть в домах у пожилых людей, наших родственников. Это было не то, что я хотел бы узнавать.

А Петька-маленький на следующий день улыбнулся мне, будто между нами ничего не произошло. Он и сегодня масляно посветил мне своим зубом.

– А я думал, вас не поймают, надо и себе попробовать убежать.

Он лицемерил. Брюки своей франтовой спецовки он разглаживал под матрацем – укладывал их туда на ночь. Я тоже как-то уложил брюки на ночь под матрац – вынул еще более измятыми. Не всякий таким способом может разглаживать брюки. Для этого надо спокойно спать.

Но сейчас Петька меня не интересовал. Он это и сам видел. Вернулись с набитыми соломой матрацами ребята. Их вел тот самый полицейский, который раздавал нам миски. Он по-прежнему был настроен благодушно, что-то советовал или объяснял.

– Ну? – говорил он.

На цементный пол натрусилась солома, Гришка показал ребятам, где веники.

От койки я отходил только для того, чтобы посмотреть, не занят ли шкафчик, в котором у меня когда-то стояла миска. Я боялся отойти. Когда Гришка донесет и за мной придут, надо быть на месте, чтобы не гонялись, не искали, не распаляли себя. Но к ребятам я подошел. Вслед за мной пришел и Петька-маленький, сияя своим золотым зубом. В лагере так

можно проверить, уважают ли тебя. Подошел, а разговаривающие не замолчали, не уставились вопросительно – значит, ты свой. Вообще-то только уверенный в полном к себе уважении рискнет без приглашения подойти к тем, кто сгруппировался для разговора. В лагере все на виду, уединиться тут можно только вот так – повернувшись спинами к остальным. Да и тайны-то есть только у деятельных и уважаемых. Какие тайны у остальных? И сладко, конечно, подойти хотя бы только для того, чтобы ощутить себя принятым, своим. Меня всегда одолевал соблазн подойти к разговаривающим. Но я редко решался. И вот теперь у меня своя тайна.

Петька подошел для того, чтобы показать новичкам, что он уважаемый человек, что для него нет в лагере тайных разговоров. Зуб его сиял нестерпимо, но я молчал, а парни смотрели отчужденно. Пришлось ему уйти.

Я хотел рассказать ребятам, на какие работы их могут погнать. Они слушали, но отчуждение в глазах не проходило.

5

Каждая новая работа в Германии была для меня ступенью ужасного. До того как мы с Валькой решились на побег, я прошел две такие ступени: работу в подземелье и в литейном цеху. В первый же лагерный день меня погнали к подножию холма, в глубину которого уходили два широких входа. Из подземной темноты этих ходов шли рельсы узкоколейки и обрывались на краю выброшенной породы. Такие рельсы укладываются секциями. Эти секции – рельсы, привинченные к железным шпалам, – привозят на место и складывают штабелями. А тут уже были поворотные круги, ответвления, на которых вагонетки могли расходиться, – целый комбинат, который, казалось, работает годы. Казалось, такую гору породы можно добывать и вывезти из-под земли за целую рабочую эпоху. И было страшно, что все это сделано четырьмя русскими и двумя поляками за два месяца.

Рельсы были старыми, вагонетки – погнутыми и грохочущими. Железные рельсы прогнулись оттого, что их много раз укладывали на неровный грунт, вагонетки – потому, что падали с горы отвальной породы (мы сами их часто сбрасывали нарочно). Камень, железо рельсов и шпал – все было в сырой и скользкой глиняной смазке. И все вокруг от этого подземельного камня, связанного подземной глиной, было сырым, желтоватым и скользким. С потолка сочилось и капало, но разбухший от сырости, от подземного тумана воздух был неподвижен, и, когда мы с холода входили сюда, на мгновение казалось, что в подземелье тепло.

Работать надо было «до чистой стены», а косые слоистые камен-выходы пода очень чувствовались лопатой. Лопата срывалась, не шла и в самый последний момент оказывалась пустой. И хоть бы ловкости прибавлялось от четырнадцатичасовой работы! Бьешься с этой лопатой, упираешь ее в живот, а она становится все тяжелей. Наконец вагонетка полна, мы упираемся в нее изо всех сил – надо сдвинуть ее с места и вкатить на взгорок. Тяжело, но какая-то перемена. Развернули вагонетку на ржавом поворотном круге, довели, сдерживая, до обрыва, опрокинули, вычистили лопатой налипшее и катим пустую назад. И это опять перемена в нашем тяжелом дне. На дожде мы промокли, и в который раз переход под землю покажется нам переходом в тепло. В первый же день я узнал, что перемены тяжелого – все наши возможности.

– Шеп, шеп,⁹ – подгоняет нас фюарбайтер Пауль.

Он стоит за нашими спинами. Но страшно даже не это. Страшно то, что куча породы с этой стороны вагонетки, где работает мой напарник Андрий, убывает быстрее, чем с моей. Андрию лет двадцать, он глуховат. Голову держит набок и смотрит уклоняющимся, смущающимся взглядом. Этот смущающийся, уклоняющийся взгляд мне долго был ненавистен. Андрий втягивал меня в гонку, которой мне было не выдержать и минуты. Шеп, шеп – относилось только ко мне.

– Выслуживаешься, гад! – говорил я ему в отчаянии.

Но он не слышал и не замечал, что я ему говорю. Я видел его уклоняющийся взгляд и думал, что он притворяется глухим. Однажды Пауль ударил меня, и Андрий понял. Сказал мне своим гнусавым голосом, которого он сам не слышал:

– Я не могу не работать.

И показал на подземелье и на все вокруг. Сказал с отчаянием. Взгляд его стал еще более уклоняющимся. Он действительно был будто приспособлен к этой лопате с короткой ручкой, будто всю жизнь работал ею в этой темноте и тесноте, так точно упирал ее в породу, так ловко подхватывал на колено, не цепляя рукояткой стену. Даже большие куски породы он

⁹ Давай лопатой! (Нем.)

брал не руками, как я, а тоже подхватывал их на лопату и, откидываясь назад, бросал в вагонетку. Он стал теперь, когда Пауль уходил, работать с моей стороны. Должно быть, в детстве Андрия дразнили за глухоту и гнусавость. Ему и сейчас требовались большие усилия, чтобы произнести слово. Молча он мне показывал, чтобы я посторонился, и куча породы, в которую я беспорядочно тыкал лопатой, начинала ровно убывать, а пол перед нею очищался. Но Пауль был проницателен и почти сразу же засек нас. С тех пор жизнь моя в подземелье стала еще страшней.

Фоарбайтер – всего лишь старый рабочий. Все немцы-рабочие на фабрике и в подземелье ходили в спецовках. Пауля мы узнавали по светлому пальто. В сером подземном тумане, тускло освещенном как бы отсыревшим электричеством, появлялось медлительное светлое пятно – это, стараясь не поскользнуться, не сбить себе ногу и не выпачкаться, шел к нам Пауль. Медлительность его была еще и от болезненности. Пауль не мог работать физически. У него был туберкулез, кожа на выпирающих скулах и висках была пергаментной и потной, а смотрел он на нас так беспокоенно и подозрительно, словно знал, что мы все ждем его смерти. Он хвастал, что мог бы не работать совсем, но трудится добровольно. Мою физическую слабость и неприспособленность он оценил сразу, и его «шеп, шеп!» я слышал постоянно. Прежде чем подойти к нам, он подолгу стоял за поворотом подземелья – слушал, как часто ударяется порода о металлические борта вагонетки. На слух определял, с каким усердием мы работаем и кто кидает чаще, Андрий или я. Он специально, я думаю, разъярял себя, чтобы подойти кричащим и грозным. Пытался из-за вагонетки достать меня кулаком или ткнуть палкой. Потом стоял за нашими спинами в светлом пальто и кашне, которые, конечно, не грели его, дышал подземным туманом. Этот подземный туман должен был убивать его, но он не уходил. При нас он старался не обнаружить свою физическую слабость – не кашлял, не задыхался. Но через некоторое время подземная сырость так пропитывала и раздражала его воспаленные легкие, что, стоя на месте, он начинал часто дышать, откашливаться и булькать. В эти минуты он становился особенно злобным и придирчивым. Часто вытирал лоб платком, как будто туман, набившийся в его легкие, проступал сквозь кожу. Эта потливость на холоде поражала меня. Я долго не мог понять, как это можно потеть в этой ледяной сырости. Потом мне объяснили, что Пауль болен. Сам я досмотрелся, что нелепое в этой постоянной рабочей грязи светлое пальто Пауля уже старо, покрыто пятнами, которые, наверно, тщательно выводились авиационным бензином. И я неожиданно понял – неожиданно, потому что я уже не мог думать о немцах как о людях, – что Пауль – бедный и жалкий человек. Это не сделало его ближе, напротив, я стал испытывать к нему гадливость. Я видел, что в ярость он приходит так же часто, как и смущается. Раздражительность Пауля постоянно подогревалась его слабостью. Гадливость обострила мою мстительную проницательность. Этот невысокий, смертельно больной человек из маленького немецкого городка не только с самоубийственной страстью выполнял свой долг – следил за тем, чтобы мы не уклонялись от работы, – но и страдал оттого, что мы видим его бедность и слабость. В этой войне, где убивали так много людей, даже наши лагерные шансы были выше, чем его. Мне казалось, что я мог точно указать момент, когда лицо Пауля серело от этой мысли. О болезнях я тогда еще мало знал, и потливость Пауля на холоде продолжала меня поражать. Когда он стоял за нашими спинами, мне казалось, что потливым, болезненным становится сам туман в подземелье.

Но все же в подземелье было два входа, на поверхности работал компрессор, и Пауль вынужден был ходить туда.

Во втором ходе подземелья работал земляк Андрия Володя. Оба были белорусами. Володя был года на три моложе Андрия. И Андрий ходил за ним, как нянька. В лагере их нары были рядом, Андрий все время стремился что-то понести за Володю, брал у него из рук миску и говорил с какой-то материнской интонацией своим гнусавым голосом: «Давай я

понесу». И взгляд его при этом становился уклоняющимся и смущенным. Самоотверженная привязанность его была так заметна, что о ней знал весь лагерь. Все видели, как Андрий стирал Володину рубашку, штопал его брюки. Он умел сапожничать и шить, и Володина одежда всегда была в неплохом состоянии. Они были совсем разными. Володя – городской, Андрий – деревенский. Володя любил жить на виду, Андрий в лагере не вставал со своей койки. Сидел он там под ярусом второго этажа нар, и голова его всегда была наклонена над каким-нибудь шитьем. Они и разговаривали мало. Чтобы Андрий услышал, надо было кричать, и, если кричали тихо, в глазах его не появлялось понимание. Если кричавший был ему неприятен, неинтересен или если Андрий подозревал, что его дразнят, он мотал головой и уходил. Володе часто приходилось кричать ему два раза. Он предупреждал соседей:

– Сейчас с Андреем буду говорить.

Андрий догадывался об этом по смеющемуся Володиному лицу, по тому, что соседи к чему-то приготавливаются. Взгляд его становился смущенным, лицо выражало усилие и страдание. Он кивал, краснел, показывал, что понял, и протягивал Володе ложку или еще что-то. А Володя смеялся и кричал:

– Андрей, ты же не понял!

Все смеялись. Володя кричал еще раз. Я завидовал Володе и осуждал его за эти шуточные предательства, за то, что он заставлял всех смеяться над Андрием. Осуждал его за то, что он мог взять у него кусок хлеба и еще показать всем:

– Андрей дал!

Он не сразу привык к Андриевой привязанности, но потом сам стал давать ему рубашки.

– Андрей, постирай!

Или протягивал прохудившиеся носки.

– Заштопай!

Он все-таки немного стеснялся и потому пошучивал. Андрий же никогда не стеснялся обнаруживать свою любовь к Володе. И в этом тоже было что-то материнское, какая-то уверенность, что все должны Володю любить. Володины кружка, ложка и миска хранились в Андриевом шкафчике. Если кто-нибудь просил у Андрия миску, он говорил:

– Занята.

– А эта? – упрекали его, показывая на Володину. Взгляд Андрия становился уклоняющимся, и гнусаво, с выражением значительности и безнадежности он отказывал:

– Это Володина.

Выпросить у Андрия какую-нибудь Володину вещь хотя бы на минуту было невозможно.

Надо было видеть, с какими извинениями, с каким смущением Андрий возвращал Володе постиранные рубашки, заштопанные носки.

– Мыло не стирает, – гнусаво говорил он. – Я полоскал...

Будто боялся, что Володя в следующий раз не доверит ему свою рубашку.

Андрием он называл себя сам. Когда мы с ним познакомились, я переспросил.

– Андрей? – прокричал я ему.

– Андрий, – поправил он меня.

И все в лагере уважали это его желание называться Андрием, и только Володя, не обращая на это внимания, звал его Андреем.

Володя был худ, как все в лагере, но здоров. И здоровьем своим он был обязан Андрию. И еще, пожалуй, своему легкому характеру. Он был парень лихой, и у лагерных блатных – их у нас было несколько человек – появились к нему какие-то счеты. Они пришли как-то к Володиной койке что-то выяснять. Андрия они, конечно, в счет не брали. Да он и не мог слышать, о чем они говорили. Как всегда, он сидел на койке, склонившись над работой. Но

как раз в тот момент, когда разговор стал горячим, он вытащил доску из нар. И сразу повернул дело так, как даже, наверно, Володя не хотел. Ни такой ярости, ни такой силы, ни, главное, такой решительности блатные от Андрия не ждали. Они убежали от него в межкочные ряды и на лестничную площадку, поближе к полицейским.

А когда однажды Пауль замахнулся на Володю, Андрий, который был при этом, так перехватил лопату, что пергаментное лицо Пауля почернело.

– Ну ты, сумасшедший! – отступил он.

В подземелье работали два поляка: Бронислав и Стефан. Стефан, коренастый, волосатый, непривычно для лагеря круглолицый человек, хорошо говорил по-русски. На работе у нас с ним были прекрасные отношения. Когда за фабричной проходной мы объединялись, чтобы идти к себе в подземелье, Стефан подходил к нам, здоровался, говорил о «проклятом холоде», о «проклятых немцах», о «проклятой темноте». Для того чтобы обругать немцев, ему не хватало русских слов, он переходил на польский язык. Потом мы выясняли, как называются по-польски лопата, кирка, отбойный молоток, и удивлялись тому, что в польском языке так много шипящих звуков. Стефан охотно называл нам польские слова, в которых особенно много шипящих, учил правильно их произносить.

На работе мы покрывали друг друга. Но в лагере Стефан скучнел, вся бойкость его, готовность к разговору исчезали. Он не выходил из-за своих польских шкафчиков, а если мы встречались в умывалке и кто-то из нас с ним заговаривал, он отвечал по-польски, и разговор сам собой угасал.

– Не хочет при своих разговаривать с нами, – сказал я Володе.

– Ага, – засмеялся он.

Бронислав был тихим душевнобольным. У него светлые волосы, красивое продолговатое лицо с тонким носом. Меня тянуло к нему. В глазах его была постоянная тихая доброта. К этой доброте меня и тянуло. Но была она какая-то ни на чем не сосредоточенная, и взгляд его как бы не доходил до того, на кого он был направлен. И если Брониславу долго и внимательно смотрели в глаза, стараясь заставить его на чем-то сосредоточиться, Бронислав вдруг усмехался, виновато опускал голову, произнося при этом что-то невнятное. И никогда нельзя было заставить его повторить ясней эту невнятицу. Стефан опекал его, но иногда, желая позабавить нас, он показывал нам, какие глупые у немцев военные команды. Он кричал:

– Бронислав, штильгештан!

Бронислав сдвигал каблуки и застывал в стойке «смирно». Оказывается, он когда-то служил в немецкой армии.

– Ауген рехтс! Ауген линкс! – командовал Стефан, и Бронислав старательно выворачивал свои голубые рассеянные глаза – «равнялся направо», «равнялся налево». Но сколько-нибудь долго удержать его в этой позе нельзя. Он тотчас расслаблялся, «стойка» расплывалась, теряла необходимую для комического эффекта строгость, и Стефан командовал:

– Музыку!

Бронислав доставал из кармана губную гармонику и, скашивая на нее свои добрые глаза, извлекал несколько неясных музыкальных тактов. Эти звуки пробуждали в нас голод, о котором мы не подозревали, – голод на музыку, мы просили Бронислава сыграть еще, но звуки так и не складывались в мелодию.

Стефан говорил:

– Бронислав умеет по-английски, по-французски, по-итальянски. О! Бронислав бардзо цивилизованный. Интеллигент!

И Бронислав послушно произносил тихим голосом:

– Манже, фюме, – а потом ломаную немецко-итальянскую фразу, которую мы все, конечно, знали: – Никс манчжаре, никс фумаре, никс лаураре.

Все смеялись, и уже каждый командовал:

– Бронислав! Штильгештан! Ауген рехтс! Ауген линкс! Музыку, Бронислав.

Бронислав подчинялся не всем. Кого-то он просто не замечал. Но Володю выделял. Володе нравилось командовать. Бронислав быстро утомлялся и как будто начинал понимать, что над ним смеются. Пробормотав свою невнятицу, он уходил от нас, а Володя его задерживал:

– Пожалуйста, Бронислав...

– Оставь человека! – говорил я.

Но Володя смеялся.

– Да он ничего не понимает!

Бронислав был единственным поляком, который часто выходил из-за шкафчиков на нашу половину. Несколько шагов он делал быстро, как будто у него была важная цель, но потом неожиданно останавливался напротив какой-нибудь группы разговаривающих, опирался спиной о коечный стояк, принимал какую-то вольную, не лагерную позу – руки выжидательно скрещивал на груди, ногу ставил перед ногой – и выражение у него было такое, будто он пришел сюда с сюрпризом. Его, конечно, сразу замечали. Отмечали его вольную позу, его рассеянную улыбку, здоровались с ним:

– Бронислав! Как живешь? Расскажи что-нибудь, Бронислав!

Он отвечал улыбкой, бормотал свою невнятицу. А кто-то с польской половины раздраженно кричал:

– Бронислав!

Не меняя позы и не оборачиваясь в ту сторону, он отвечал:

– Цо?

И, так как на лице его ничего не менялось, казалось, что это не он сам отвечает, а что-то внутри него само откликается на знакомый голос. Это «цо?» поражало меня. Было в этом звуке что-то птичье, что-то женское.

Я заговаривал с Брониславом, но он не узнавал меня, не выделял среди других. Подходил Володя, и его просили:

– Володя, скажи ему, пусть сыграет.

Володя смеялся.

– Музыку, Бронислав!

На лице Бронислава отражалось сильное беспокойство. Просьба была ему неприятна, но не выполнить ее он почему-то не мог. Он произносил свою невнятицу, пытаясь объяснить что-то необъяснимое, но потом доставал свою губную гармонику, извлекал несколько звуков и опять что-то объяснял.

Иногда казалось, что звуки вот-вот сложатся в мелодию, что Брониславу нужно сделать какое-то совсем ничтожное усилие, чтобы они сложились, что Брониславу нужно помочь преодолеть темное упрямство его большого разума. И все покрикивали, требовали, старались решительностью голоса пробудить в Брониславе волю.

– Музыку, Бронислав!

Володя смеялся, но обязательно находился кто-то раздражительный и недоверчивый, считавший Бронислава симулянтом. Для себя небось играет. Зачем иначе постоянно носит с собой гармонику?

С музыкой, однако, ничего не получалось, и Володя начинал командовать:

– Штильгештан! Ауген рехтс! Ауген линкс!

Снисходительно улыбаясь, Бронислав выполнял команды. Но тут Бронислава уводил высокий поляк, которого звали немецким именем Вальтер. Вальтера я считал старшим на польской половине. Он был там самым высоким, и разговаривал он увереннее и громче всех. Одевался он всегда хорошо, будто, отправляясь в Германию, захватил чемодан с новой одеждой.

Вальтер ругался и уводил Бронислава, а я говорил Володе:

– Зачем ты это делаешь? Слышишь, как ругается?

– Да? Ну и что? – отвечал Володя так беззаботно, что я и сам начинал думать: «Ну и что?»

Бронислав, однако, действительно знал французский – я видел, как он говорил с французами. И по-немецки понимал и говорил. И лопатой он работал столько же, сколько и все, и в вагонетку впрягался. Но Паулю все время казалось, что он симулирует. Он отталкивал его, сам в своем светлом пальто брался за вагонетку – показывал, как надо толкать. Он тут же задыхался, на желтых пергаментных щеках появлялись пятна, виски покрывались потом, аккуратное кашне выбивалось. Он и нас пытался натравить на Бронислава: вы за него работаете! Когда он его пинал, Бронислав вздрагивал, как будто не мог понять, откуда исходит боль, лопотал свою невнятицу, на секунду убыстрял свои шаги, но потом опять казался вялым, безмускульным, идущим за вагонеткой, а не толкающим ее. И Пауль опять пинал его. От злобы Пауль закашливался, бледнел, и это останавливало его. Он уходил, чтобы успокоиться и набраться сил. Я догадывался, что Пауля поощряет и даже соблазняет полная беззащитность Бронислава. Но и с нами он воевал не на жизнь, а на смерть. У нас было немного возможностей останавливать работу, но те, что были, мы, конечно, использовали. Сбрасывали вагонетку с горы отвальной породы, как будто не могли удержать ее, когда опрокидывали гондолу. Вагонетка и сама могла опрокинуться, ее надо было страховать бревном, вставленным в раму. Эти бревна с изодранной корой, в скользкой глиняной смазке лежали тут же. Мы вставляли их в раму, с криком опрокидывали гондолу и следили за Володей – он подавал сигнал. Если вагонетка не шла сама, мы ее подталкивали теми же страховочными бревнами и с криком отскакивали в сторону. У Андрия при этом лицо делалось смущенным, он наклонял по-своему голову, будто не одобрял нас, считал наши поступки детскими. Вагонетка катилась глубоко вниз, грохотала, перекатываясь через гондолу, но никогда не ломалась. И рама, и колеса, и оси, и сама гондола – все в ней было тяжелым и прочным. Я не помню ни одного случая, чтобы Пауль при этом обвинил нас в саботаже. Он называл нас ленивыми собаками, но, должно быть, считал, что мы не станем нарочно идти на такой каторжный труд – вагонетку вытягивать наверх приходилось нам самим. Теперь надо было брать те же самые страховочные бревна, бежать вниз, освободить гондолу от тяжелой липкой породы, которая так и не высыпалась вся, пока вагонетка катилась, ставить ее на колеса и по крутому откосу, по щебню, по камням, едущим вниз на глиняной смазке, тащить ее наверх. Не одобрявший нас Андрий яростно действовал страховочным бревном. Этого человека возбуждала сама работа. Кроме того, ему всегда хотелось взять на себя Володину долю. Час или два, ссаживая ноги на скользких камнях, сбивая руки, торгуясь с Паулем, который в своем светлом пальто следил за нами с вершины отвальной горы, требуя у него помощи, мы вытаскивали вагонетку наверх, счищали с нее глину (с себя мы ее счистить уже не могли), ставили ее на рельсы и катили в подземелье. Понятно, что некоторое время мы сами остерегались упустить вагонетку вниз. Но в конце концов опять подходил такой момент, мы все чувствовали его приближение, потому что ведь перемены тяжелого – это были все наши возможности. Володя лихо подмигивал, и вагонетка летела. Глядя ей вслед, слушая, как она лениво перекатывается через гондолу, глухо грохочет разболтанным, измазанным глиной железом, мы испытывали мгновенное торжество. Может быть, мы бы опрокидывали ее реже, если бы в Володиной лихости не было безоглядности. Он загорался вдруг, вспыхивал и в эту минуту совершенно не думал о последствиях, как бы ни были они близки. Или смеялся:

– Все равно Андрей вытянет!

Я завидовал Володиной храбрости. Она всегда была при нем. Это было видно по его быстрой улыбке, по тому, как он, не приседая и не балансируя, спускался по крутому откосу отвальной породы, по тому, как он разговаривал с Паулем. Даже кожа у него была такой

смуглой, какой она, как мне почему-то тогда казалось, должна быть у храброго человека. И никогда Володе не надо было ждать, пока у него наберется достаточно храбрости, чтобы что-то сделать. Он сам не знал за мгновение до этого, что она его заставит сделать. Поэтому рядом с ним всегда потягивало опасностью. Он мог за спиной Пауля оборвать электрический провод, ударить киркой по шлангу от компрессора. Володина смелость, заставлявшая волноваться Андрия, утомляла и меня. Мне казалось, что вовсе не обязательно рвать провод за спиной у Пауля. Я не мог так хорошо управлять мускулами своего лица, так мгновенно принимать удивленное и независимое выражение. Но рядом с Володей было и легко, потому что лицо его могло быть серьезным или веселым, но я никогда не видел на нем того ужасного, несправедливого гнева, с которым иногда усталые, раздраженные люди в лагере отстаивают свое место, свою койку или какое-нибудь другое свое право.

Конечно, я бы полностью подчинился Володе, если бы он захотел. Но он оставлял мне всю мою свободу. Должно быть, он хорошо видел эту мою пацанячью готовность и посмеивался, когда я спрашивал у него, как мне поступить:

– Твое дело. Я за тебя не отвечаю.

Я тяжело переживал его понимающую улыбку. Я ведь предлагал ему свою любовь и верность, а он от них отказывался. Он и об Андрии говорил:

– Никто его не заставляет. Он сам, – и улыбался той же улыбкой.

Мне бы оценить эту его улыбку – в лагере были люди, от которых приходилось отстаивать свою независимость. Но я обижался. И за Андрия обижался. О нем Володя не должен был говорить: «Это он сам».

Андрий принес ему заштопанные носки, а кто-то удивился:

– Он тебе должен, что ли?

Глухой Андрий не слышал. Лицо его выражало обычное унылое беспокойство, угодил ли он Володе, и я подумал, как было бы ужасно, если бы он догадался, о чем говорит Володя. Конечно, Володя не хотел, чтобы Андрий услышал, но улыбался он своей обычно смелой улыбкой, будто готов был то же самое прокричать громко, чтобы Андрий услышал и подтвердил. Тогда я почувствовал, что слова «твое дело», «ты сам» могут быть не только тяжелы, но жестоки и несправедливы.

...Раза два нам удавалось портить компрессор, иногда он останавливался сам, и тогда Пауль выгонял нас мостить дорогу к подземелью. Работа тяжелая, и была она неприятна тем, что ждала нас всегда. Стоял ли компрессор или случалась другая заминка, нас гнали мостить дорогу. Шла она круто вверх от входа в подземелье. Мостили ее грубо, высыпая щебень и камень на глинистую, раскисавшую под частыми осенними дождями поверхность горы. Щебень возили в одноколенной железной заводской тачке. Колесо у тачки маленькое, приспособленное к цеховому цементному или асфальтовому полу. По грубому щебню, по сырой глине оно, естественно, не катилось, тачку тащили волоком. Андрий брал ее за ручки, а я, Володя, Бронислав или кто-нибудь другой впрягались в специальные тяжи и выволакивали ее наверх. Пауль давал нам урок – насыпать щебня от «этого» до «этого». Он мог даже уйти – когда возвращался, было видно, сколько мы успели насыпать. Сыпали, конечно, впритруску, но сырая глина тотчас топила тонкий слой щебня, на поверхности он почти не держался. В одну из заминок, когда заглох компрессор, Пауль поставил к тачке Андрия, Володю, Бронислава и меня. Отмерил урок, пригрозил: «Смотрите!» – а сам куда-то ушел за помощью. Конец смены был близок, мы выволокли одну тачку и остановились, не высыпая из нее щебня, – кто-нибудь появится, и мы сразу ее опрокинем, будто продолжаем работу. Никто не показывался, Пауль как будто надолго ушел. Володя присел на тачку, пристроился рядом и я. И только Андрий что-то подравнивал лопатой, притаптывал, притрамбовывал – готовил колею для тачки.

– Все, Андрей, – крикнул ему Володя, – все! Отдыхай!

Андрей услышал, но продолжал возиться.

– Ничего, ничего, – сказал он Володе своим извиняющимся гнусавым голосом, – сиди.

Однако услышал Володю и Бронислав. Он стоял, держась за тяж, ждал, что нужно будет делать дальше. Теперь он вопросительно повернулся к Володе, и тот успокаивающе сказал:

– Все, Бронислав, все. Никс лаураре, – и засмеялся.

Бронислав бросил тяж и пошел вниз.

– Эй, Бронислав! – крикнул Володя.

Но Бронислав пробормотал свою невнятицу и не обернулся. Он спустился ко входу в подземелье, подобрал там свою лопату и понес ее в сарайчик для инструмента, в котором хранились лопаты, кирки, отбойные молотки, свернутые в кольца резиновые шланги, – решил, что работа кончена. Это все осложняло. Вернется Пауль, сразу все поймет.

– Авось обойдется, – сказал Володя.

Пауль зашел с той стороны, откуда его не ждали. Увидел нас сидящими на тачке и бежал к нам, грозя рукояткой от короткой шахтерской лопаты. Я хорошо знал, сколько весит эта плотная, отполированная рабочими ладонями палка. Пауль бежал сверху, но лицо его было потным. В этот момент обычно мирный Андрей перехватил лопату, а Володя подтолкнул меня.

– Скажи, что Бронислав ушел, а мы без него не можем. Сумасшедший же, ничего ему не будет...

Он сообразил, когда казалось, уже не было никакого выхода, а главное, обрадовал меня доверием. Я эту радость успел ощутить, она отчаянным восторгом вспыхнула во мне. Такие дела Володя чаще всего брал на себя, а теперь я должен был выйти вперед, остановить Пауля, принять первый удар – значит, Володя поверил, что есть у меня для этого силы. Но и смущение охватило меня: Бронислава нельзя было называть, сумасшедший он или не сумасшедший...

Я шагнул вперед, а Пауль отшвырнул меня и несколько мгновений, тяжело дыша, смотрел на Андриеву лопату, на Володю, на меня, как будто пересчитывал нас. А потом бросился вниз. Он настиг Бронислава, когда тот выходил из сарайчика для инструментов. Мы услышали заячий какой-то вскрик. Глаза хотелось закрыть, такой это был удар. Бронислав и невнятицу свою бормотал тихо, и, если ему случалось говорить связные слова, он их произносил голосом тихим и благожелательным, а теперь от боли вскрикивал тихо, будто боялся нарушить приличия. Визжал Пауль. Видно было, что он не остановится, что каждым ударом он стремится до чего-то добраться и визжит оттого, что это ему не удается. Бронислав вскрикивал и поворачивался, намеревался бежать и останавливался, едва сделав несколько шагов. И тут Володя побежал, за ним Андрей и я. Это была не мысль, не чувство. Это было под ногтями, в позвоночнике, в ослепших глазах – убить! Я увидел, как Пауль вдруг отбросил палку и побежал. Расстояние между нами было довольно большое, а он закрывал голову руками, и крик его был слышен, когда он уже скрылся из наших глаз.

Мы подбежали к Брониславу, Володя попытался его ощупать, но тот отстранялся, и я впервые разобрал его невнятицу.

– Дай спокуй! – говорил он и что-то объяснял или оправдывался. Должно быть, он точно так же смотрел на Пауля своими голубыми добрыми глазами, в которых таял, никак не мог истаять мутноватый осадок непонимания и неузнавания. Шапку он Володе не давал снять, и Володя scomандовал:

– Штильгештан! Ауген рехтс!

Провел ладонью по его потным спутанным волосам и засмеялся.

– Цел!

Заботы, которые миновали, Володя забывал так быстро, как будто засыпал их. Проснется – и ничего не помнит. Вот-вот потребует: «Бронислав, музыку!» Только что он бежал впереди нас, я видел, как смело, не оскальзываясь, находили место на скользкой горе его худые жилистые ноги, а теперь посмеивался, словно не он подтолкнул всю эту историю.

– Надо было удержать Бронислава! – крикнул я ему.

Он удивился, потом потемнел.

– Я ему нянька? – и спросил меня: – Своя голова есть? – и еще что-то сказал о тех, кто путается под ногами, липнет, без кого было бы гораздо лучше.

Он подошел к подземелью, и Андрий, виновато оглянувшись на меня – мол, что я могу сделать, Володя зовет! – двинулся за ним. Я и минуты не выдержал, поплелся за ними. Лучше умереть, чем оставаться одному.

Володя и Андрий покатали пустую, медленно погромыхивающую железом вагонетку. Я пристроился сбоку. Руку положил на обросший цементированной массой загнутый борт и то наступал на шпалы, то обходил их.

– Эй, Бронислав! – позвал Володя.

Он думал о тех, у кого «своей головы» нет. И это, конечно, его, а не нас с Андрием испугался Пауль. Я тянулся рукой за вагонеткой, был рад, что меня не прогоняли (Володя мог бы сказать: «Четверо на пустую вагонетку – никто не поверит. Найди себе что-нибудь другое»), но ожидание опасности, которую вот-вот должен был привести за собой Пауль, Володина правота, соединенная с обычной его ловкостью, в которой, как я чувствовал, мне нет места, раскаяние и неумение все это выразить заставляли меня спорить:

– И с велосипедом ничего бы не было, если бы Андрий послушал.

– Не было б, не было б, – сказал Володя, – и ничего бы не было.

Неделю назад у фабричной проходной я увидел Володю, который гонял велосипед по слишком узкой для такой быстрой езды площадке. Андрий с плаксивым выражением лица пытался его остановить, а Володя, пугая его, направлял на него велосипед. Велосипед был рабочий, тусклый, запыленный. Обычно немцы оставляли свои машины перед проходной, а этот почему-то оказался здесь. Подходили на пересчет французы-военнопленные в пилотках, которые я раньше считал испанскими, в шинелях и плащах цвета мокрой глины в нашем подземелье. Французы собирались группами, смотрели на Володю, говорили: «О!» – смеялись. Этих людей в нездешнего цвета мундирах я вначале считал вспомогательными войсками каких-то немецких союзников. Французскую речь я не слышал. Опыта, который и не знающему язык позволяет на слух определить, на каком языке говорят, у меня не было. Мундиры их были не новы, но как раз такую одежду и должны были носить вспомогательные войска. И запах их сигарет, в которых у них не было недостатка, был непривычен, как цвет их мундиров, как звук их речи, которую они самолюбиво не стремились сделать понятнее для немцев или для нас, как их манера курить, не вынимая сигарету из рта, не сбивая пепел, не похожая на все, что я видел до сих пор. Огонек у губ, а не жжет. Бумага обуглилась, но не сгорела – огонь прошел по сердцевине сигареты. Привычка попыхивать, посапывать, покуривать, а не затягиваться жадно. В речи их, когда они обращались к немцам, не было слышно немецких слов. Даже поторапливая конвоира, чтобы он не держал их у проходной, а вел скорее в лагерь, они кричали что-то вроде:

– Але, але!

А на его недовольный выкрик отвечали длинной фразой, в которой он мог бы уловить только рассудительно-ироническую интонацию и восклицание: «О-у!»

Я и посчитал этих несильного сложения людей солдатами вспомогательных войск немецких союзников потому, что они держались независимо. Правда, в первые же лагерные дни я узнал, что давление на их независимость в десять раз слабее, чем на нашу. С многоступенчатостью этого давления познакомишься в первый же день: в фабричной столовой, у

Гришкиного раздаточного окна, на работе. Самая грязная баланда и самая грязная работа – наши. У поляков чуть больше хлеба и сигарет. Разница измеряется граммами. Важны не граммы – важна разница. Возникали в лагере неясности: куда, например, отнести прибалтов? Однако тут же каждому отводилась его ступень. Чем чище баланда, тем легче работа и мягче обращение. Французов обедать водили в немецкую столовую, и суп им наливали из немецкого котла. Но, конечно, независимо они держались не только потому, что это им давалось легче. Немцы еще стояли у наших границ, еще невероятная толща времени отделяла меня от того, что произошло потом, а они уже были здесь. Я был еще дома, их судьба была для меня в двух газетных строчках, в неясных газетных снимках, еще я мог поверить во всё что угодно, но только не в то, что окажусь с ними в одном месте, а они уже работали на этой фабрике. Страна их была разбита, плен стал бессрочным, новые пленные с востока должны были только укреплять их в этой мысли, но они держались независимо и не шли на союз с немцами, хотя немцы теперь воевали с нами, а их склоняли к союзу и сотрудничеству. А ведь враг склоняет пленного к сотрудничеству не только хорошим, но и дурным обращением с ним. Лагерные помещения французов были в точности похожи на наши. Те же стандартные койки в два яруса, то же отсутствие воздуха, тот же соломенный запах.

Но, как бы то ни было, их ощущение опасности отличалось от нашего. Поэтому они посмеивались или осуждали Володю, когда он направлял велосипед на Андрия, а сам Андрий, который, должно быть, никогда не ездил на велосипеде и потому панически боялся его, не отступал, а вновь и вновь пытался остановить Володю и уговаривал его плаксиво:

– Володя, побьют!

Володя пролетал мимо, едва не ударив Андрия, делал разворот, как будто бы для того, чтобы поскорее опять его напугать. Я тоже было сунулся на помощь Андрию, но Володя так грозно на меня прикрикнул, так яростно направил на меня велосипед, что я тут же отскочил.

Володе кричали:

– С ума сошел!

То, что это перестало быть игрой, почувствовали даже французы. Из их толпы тоже что-то крикнули предупреждающее Володе. Но было уже поздно. Прибежали охранники и лагерные полицейские, стащили Володю с велосипеда и поволокли в вахтерку. Он выгибался, волочился, загребал ногами. В дверь его долго не могли втолкнуть. Он упирался в притолоку, хватался за ручку двери. Его отрывали, а он хватался опять. Казалось, странное опьянение его не прошло, и он просто не чувствует боли. Кто-то крикнул поощряюще:

– С одним не могут справиться!

Кричали что-то и французы. Сбежались еще полицаи. Нас потеснили и дверь наконец захлопнули.

Минут через десять Володю выпустили. Он остановился у порога вахтерки, нагнулся, почистил брюки. Андрий бросился к нему.

– Били?

Володя крикнул ему в ухо:

– Нет, Андрий, не били!

Андрий поверил, а увидев, что все смеются, сказал растерянно, гнусаво:

– Били! Обманываешь.

А мне запомнилось Володино пьяное, глухое лицо, когда он, рискуя кого-то сшибить и расшибиться, летел на велосипеде, спешил накататься, пока не схватят. А ведь день у него прошел обычно, и он, конечно, сам не знал, что, увидев оставленный у проходной немецкий велосипед, так опьянеет именно потому, что велосипед относился к числу предметов недосягаемых, запретных.

Об этом я заговорил с Володей, а он мне ответил:

– Будешь много думать – ногу сломаешь.

Радоваться как будто было нечему, но я был доволен, что он разговаривал со мной.

– Почему? – спросил я, хотя уже знал, какой будет ответ.

– Под ноги некогда смотреть.

Еще в лагере говорили: «Будешь думать, вши заведутся».

Вшей действительно было много. Все в лагере думали, тосковали, тоску называли думами, мыслями, так что эту легенду ни опровергнуть, ни доказать было нельзя.

Когда на горе показался Пауль с двумя фабричными охранниками, мы вкатили вагонетку на поворотный круг и стали ее с криками разворачивать. Форма у охранников была поскромнее, чем у лагерных полицаев, и дел они с нами почти не имели. Утром принимали по счету и открывали заводские ворота. Мы разворачивали вагонетку, а они остановились на краю мощеной дорожки – не хотели ступить в грязь. Пауль забежал вперед, но они колебались. Володя сразу уловил эту заминку. Он задрал спецовочную куртку Бронислава, показал ссадины на его голой спине. Бронислав вырвался, глаза его были стыдливо опущены.

Важно было удержать охранников на мощеной дорожке. Ступят в грязь, испачкают ботинки, озлобятся – нам придется плохо.

– Он сумасшедший! – сказал Володя.

Все-таки до вагонетки, за которую мы, показывая усердие, держались, по глине, по грязи было далеко.

– Лагерполицай! – сказал один из охранников. Пообещал передать нас лагерной полиции.

Они ушли, медленно ступая в гору, выбирая места посуше.

С этого дня Пауль стал осторожно ходить по подземелью. Из темноты было видно, как он мешкал у входа, будто не решался подставить свое светлое пальто струйкам грунтовой воды. Пауль привыкал к подземной электрической полутемноте. Выстукивал короткой шахтерской киркой деревянные стояки, опасливо смотрел на потолок. Под тяжестью камня, которым набивались пазухи между потолочными досками и каменным потолком туннеля (если рухнет глыба, она сядет на каменную подушку, а не ударит с размаху о доски), под действием сырости потолочные доски заворсились и прогнулись. Там всегда шуршало и потрескивало – вода сдвигала камни, гравий, они просеивались, оседали, находили щели в деревянном потолке. Если присмотреться к стыкам в досках, можно было заметить это мертвое движение, наметить камни, которые вот-вот упадут. Пауль толкал их рукояткой кирки – обрушивал вниз. Мы видели, как светлое качающееся пятно медленно приближается к нам. Оглянешься, когда подойдет, усмехнется. Сам признаёт разницу между тем, как подходил раньше и как подходит теперь. Дня два не придирался совсем, а потом с новой осторожной повадкой опять стал замахиваться. Многое я понял в Пауле: смену настроений, удовольствие, когда ему удастся напугать или ударить, ухмылочку, с которой он отступает. Замахнулся, а в ответ приподняли лопату, он и отступил, ухмыльнулся. Заметил я, что на его пальто отчетливее стали проступать пятна, вытравленные авиационным бензином. Одного я не мог понять – где он заряжается своей злобностью? Неужели у себя дома, где он снимает свое светлое пальто, вешает его на плечики, где ему бензином выводят пятна. Жил он где-то рядом, на обеденный перерыв ходил домой. И чем лучше я разбирался в его намерениях и настроениях, тем меньше понимал в чем-то главном, постоянном. Иногда после особенно сильного приступа кашля он мог на несколько минут подобреть. Глаза его тускнели, на серой пергаментной коже проступали горячечные пятна, он смотрел на свой носовой платок, вытирал им губы и произносил:

– А-а! Аллес шайзе!

Однажды даже поручил мне переписать фамилии всех работавших на участке. В школе у нас был немецкий, какие-то навыки я имел и в ответ на его вопрос: «Канст ду дойч шрай-

бен?»¹⁰ – кивнул. Он должен был смерть увидеть во время своего приступа – такое необычное и даже невозможное было это предложение. Я видел, какое изумление вызывал у немцев, когда просил их назвать свою фамилию. Ни одной немецкой фамилии я не сумел правильно записать. Я передавал бумагу немцам и видел, с каким усилием они писали сами. Так и вернул этот составленный разными корявыми почерками список Паулю. Я ждал какого-то развития этих минут доброты и широты, их какого-то естественного продолжения. Но в глазах Пауля опять появлялся стерегущий блеск, опять начинались тычки и замахивания.

– Сдохни! – говорил ему Володя.

Когда Пауль выбирал меня, Володя усмехался и как бы освобождал мне место: «Ну-ка, покажи, на что ты способен!» Пауль это тоже улавливал и становился особенно настойчив, а я поднимал лопату настолько, чтобы была видна угроза, но чтобы нельзя было придраться. Однако удерживаться на одном и том же уровне было невозможно. Ожидание очередной стычки истощало меня. Было вообще удивительно, что Пауль принял правила какой-то игры. Лагерная полиция в любой момент могла поломать всякую игру. Большой, задыхающийся от кашля человек что-то доказывал себе и нам. А в его ухмылочке было напоминание – она у него появилась после того, как он едва не убил Бронислава. Я различал его настроение по затрудненному дыханию, по молчанию за нашими спинами. А голос его вызывал у меня приступ слепоты, приступ ненависти – то самое чувство в позвоночнике, под ногами, с которым мы бежали выручать Бронислава. Я бы с наслаждением поджег себя, если бы тело мое было из взрывчатки, чтобы избавиться от этого невыносимого давления, чтобы взорвать все вокруг. Но я был слаб, и руки мои едва справлялись с лопатой.

Пауль уходил, и я поражался: что это было? Это был не я. Так должна себя чувствовать бомба за секунду перед взрывом. Сам я не мог в себе этого вызвать. Это приходило и уходило вместе с Паулем.

В один из тех дней я увидел Пауля в форме штурмовика. В воскресенье нас выгнали на лагерный двор и построили в три шеренги. С самого утра что-то готовилось. Никого не вывели на работу, за баландой никого не отправили. Выгоняли всех: женщин с семейного этажа, больных, Гришку. Его тоже поставили в шеренгу. А когда он замешкался, ударили. Так полицаи в важную минуту проводили черту между собой и всеми русскими. Потом, вглядываясь в наши лица, вдоль шеренг прошел невысокий плотный человек в штатском костюме. Его сопровождали два гестаповца в черном. Гестаповцы, плоские, подтянутые, смотрели равнодушно, они никого не искали. Искал штатский. Кого-то он должен был узнать. Штатский был русским. Он медленно шел вдоль первой шеренги, потом вошел в коридор между первой и второй, и я увидел, какое у него красное, смущенное и стерегущее лицо. Он смотрел на нас, а мы, несколько сот человек, смотрели на него. На нем были немецкий жилетный костюм, немецкая рубашка, немецкий галстук – и вообще все немецкое. Даже цвет кожи у него как будто стал немецким – щеки его сделались веснушчато-розовыми оттого, что он ел немецкие продукты. Мешковатость, поношенность костюма отличали его от новеньких гестаповцев. И лицо его было смущенным как будто бы потому, что он давно уже увидел, пока нас выгоняли, строили, что того, кого он ищет, среди нас нет, но должен был теперь пройти вдоль шеренг под нашими взглядами – сделать свою работу. Я навсегда запомнил темноту его зрачков, когда он поравнялся со мной. Бояться мне как будто было нечего, но я боялся, вдруг укажет, вдруг в чем-то уличит, с кем-то спутает. Мне даже казалось, что он готов спутать – в смущении его была опасная податливость, он видел, что того, кого ему нужно, среди нас нет, но не решил, можно ли это сказать гестаповцам. Оттого что лицо его было смущенным, казалось, улыбнись ему или подмигни, и он тотчас ответит тебе. Однако, когда он поравнялся со мной, я понял, что он как бы и не видит меня. Что он как бы слеп

¹⁰ Пишешь по-немецки? (Нем.)

от напряжения, которое он сейчас испытывает, такая разница была между равнодушными лицами гестаповцев и его лицом. И, однако, лицо его менялось в зависимости от того, на кого он в этот момент смотрел. Оно тотчас же отозвалось большим смущением, когда он встретился глазами с Володей. И вообще отзывалось большим смущением, когда он встречался глазами с теми, кого я привык считать в лагере смелыми и уважаемыми людьми. Так Пауль бил Бронислава, пинал меня, замахивался на Андрия, но редко кричал на Володю и обходил в подземелье мрачного Стефана.

Закончив обход шеренг, человек в штатском костюме отошел к группе полицаев. Лицо его оттаяло, смущение сменилось высокомерным, гневным раздражением, появилось даже какое-то вдохновение, когда он, напрягая голос, кричал на нас. При малейшей возможности он произносил слова по-немецки. С особым кокетливым раскатом. Твердым окончанием в слове «лагерь», раскатистым «р» в «концентрационный» он отстранялся от нас, показывал гестаповцам и полицаям, как он старается. Так говорили все лагерные переводчики из русских, которых я уже встречал. Но такого мы еще не видели. Этот был не из пленных, не из вывезенных недавно, это был старый эмигрант. Веснушчато-розовый цвет кожи, как и немецкий жилетный костюм, он носил давно. Но все же было видно, и немецкий костюм, и цвет кожи, и даже немецкий язык – все чужое. Под высокомерием нет силы. Да и высокомерие полицейско-немецкое, поношенное, не свое. И в чем-то он зависел от нас, что-то его с нами связывало. Какая-то тоненькая ниточка, которой он при всем желании не мог порвать.

Он не сливался с черной группой лагерных полицейских. Все полицейские сегодня были в темных макинтошах, черных лакированных сапогах. В обычные дни они одевались пестрее. В галифе, обтягивающих ноги значительно выше колен, они выглядели непривычно тонконогими, голенастыми. Это была парадная форма, напоминавшая гестаповскую. С утра еще по их режущие белым воротничкам, по черным галстукам, по всей их скрипуче новой одежде, по голосам, которые сделались выше и тоньше, будто полицейские сразу брали самый угрожающий тон, можно было догадаться о том, что готовится нечто опасное. Гришка, которого выгнали из его комнатки в общее помещение, ничего не знал. И вот теперь этот веснушчато-розовый, поношенный объяснял. Концентрационный лагерь, расстрел на месте он обещал тем, кто во время тревоги огнем, миганием электрических фонариков наводит самолеты, тем, кто помогает парашютистам и диверсантам, кто их укрывает, кто саботирует, оказывает неповиновение, покушается на лагерный режим и фабричную дисциплину. Он объявил, что сегодня в лагере будет обыск. Нам сейчас предстоит вернуться в помещения, открыть шкафчики и быть на своих местах. Таков порядок.

Теперь стало понятно, зачем здесь гестаповцы и множество людей в ярко-коричневой форме штурмовиков. Парадная форма, ярко-красные нарукавные повязки со свастикой тоже, должно быть, волновали штурмовиков. В их голосах, когда они переговаривались, мы легко улавливали особую полицейскую пронзительность. Лагерные полицейские чувствовали себя экзаменуемыми. Экзаменаторами были гестаповцы и штурмовики.

Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют «опа». Опа – дед, старик, старина, отец. Почтительно-фамильярное слово, с которым на улице можно обратиться к старому человеку. Впервые я услышал его в пересыльном лагере. Так называли лагерных полицейских. В пересыльном женщин отделяли от мужчин, формировали партии по возрастам, отрывали друг от друга тех, кто хотел быть вместе. Здесь все обрушивалось разом: потеря близких, голодный, на крайнее истощение, паек, оскорбление гнусной баландой. Кончались бессистемные эшелонные замахивания, начинались избиения систематические. Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били они не только специальным инструментом для избиения – гумой, резиновой палкой, – но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое выворачивающая душу ненависть. Душа выворачивалась именно

тем обстоятельством, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей детской ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты: пожилой человек, интеллигентный человек, человек в белом халате – врач, или, как все мы в детстве называем врачей, доктор. Одно из самых ярких первых впечатлений в Германии: нас гонят по улице небольшого рурского городка. Только что мы носили мебель в какое-то здание, и полицейские, сопровождающие нас, даже довольны нами. По тротуару идут две нарядные молодые женщины с нарядными детьми. Дети кидают в нас камни, и я жду, когда женщины или полицейские остановят их. Но ни полицейские, ни женщины не говорят детям ни слова.

И еще поражает и выворачивает душу: идет сорок второй год, немцы воюют в далеких чужих землях, война к ним иногда прилетает на самолетах. Рурские городки стоят целые. Целы новый асфальт и булыжник старинных мостовых, целы витрины многочисленных маленьких и крупных магазинов. Откуда же эта энергия слепой, не выбирающей в нашей толпе ни старших, ни младших ненависти? Ведь нельзя же просто так с утра, как чашкой кофе, заряжаться ненавистью. Это ведь не будничное чувство. А между тем энергией своей, последовательностью, организованностью и каким-то всеобщим будничным распространением эта обращенная на нас жестокость и поражает. И еще странно – есть в этой жестокости парадность, форменность, официальность и частная инициатива. Полицейская, гестаповская форма или штатский костюм – все равно. Есть в ней и интонация. Голос, набирающий полицейскую пронзительность, поднимающийся на все более и более высокие тона.

Переводчик, играя силой голоса, давно уже поставленного на произнесение немецких слов, объяснял, как надо вести себя при обыске, а мы стали приглядываться к штурмовикам. И вдруг Володя, который стоял в шеренге рядом со мной, засмеялся – его и тут страх не брал.

– Смотри, Пауль!

Я сразу же узнал Пауля потому, что сам долго смотрел на него. Фуражка с высоченной хищной тульей делала его пергаментное потливое лицо еще более худым. Новенькая коричневая форма, но белое застиранное кашне. Пауль почувствовал, что его узнали, забеспокоился. Лицо стало напряженным. Я подумал, что, ощутив на себе наши узнающие взгляды, он тотчас засмутился застиранного кашне. А из наших шеренг узнавали всё новых штурмовиков:

- Урбан!
- Шульц!
- Опа!
- Гусятник!
- Ганс!

Узнав одного, мы теперь узнавали всё новых и новых. Наше узнавание, удивление передавались через двор. В толпе штурмовиков, должно быть, ждали, когда мы начнем их узнавать. Все эти партийные активисты были фабричными мастерами и рабочими. Наше узнавание не было им безразличным. Голоса их стали резче. Они перекрикивались друг с другом, не нам, а друг другу показывая, что их опознали в их коричневой яркой форме. Эта была не полевая, не для грязной фронтовой работы, не военная, а парадная форма. И алые нарукавные повязки с черной свастикой в белом круге тоже были режущие яркими. Это была форма полицейских, уличных регулировщиков – она была рассчитана на привлечение многих взглядов. Между ее ярким цветом и возбуждением тех, кто ее надел, была прямая связь. Но не всех она одинаково выпрямляла, не на всех сидела одинаково. Красное обветренное лицо дворового мастера Урбана я знал хорошо. Он ведал погрузкой и разгрузкой железнодорожных вагонов. В его распоряжении были фабричные железнодорожные пути, наше подземелье и вообще все земляные, погрузочные и разгрузочные работы на фабричном дворе. В воскресенье на погрузку и разгрузку вагонов выгоняли из лагеря штрафников, так что обвет-

ренное лицо Урбана было знакомо многим. Замечено было, что он никогда не дрался. Никогда не носил коричневого халата, который поверх одежды надевали все фабричные мастера. Носил похожую на нашу стеганку грязноватого цвета куртку без воротника. И сейчас, казалось, яркая форменная одежда не заражала его воинственной бодростью. И выправки форма ему не прибавила, а фуражка с высокой тульей не прибавила росту. Он привычно сутулился, как в своей рабочей куртке. И не было в его взгляде пристальности, стерегущего внимания, показной готовности захватить врасплох, которую специально вырабатывали немцы-мастера. Он и на работе не давил своим взглядом, не останавливался надолго возле работающих, не кричал даже на штрафников. Остановится на минуту, как будто не сюда шел, а мимоходом, вскользь посмотрит незапоминающим и не узнающим взглядом, скажет фойербайтеру несколько слов, повернется спиной и, не оглядываясь, уйдет. И незапоминающаяся тусклость в глазах, и этот как бы освобождающий от своего присутствия взгляд вбок или вниз, и сутуловатая спина – все эти манеры человека невъедливого были давно оценены. Он и сейчас не грозил взглядом, не выискивал кого-то в наших шеренгах. Но было в лице его что-то такое, что могло испугать больше, чем потливое раздражение Пауля. В лице Урбана были серьезность, понимание своего долга и готовность этот долг выполнить. И выражение этой серьезности было обращено не к нам – на нас он смотрел все тем же невыделяющим и незапоминающим взглядом, – а к немцам. Своей молчаливой серьезностью он усовещал легкомысленных крикунов, самой своей сдержанностью показывал им, что не тот у них сейчас настрой.

Рядом с ним стоял главный инженер Шульц, о котором говорили, он знает по-русски: «Там – тачка, там – лопата. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Выбор фраз меня удивлял, главный инженер ведь не тачками и лопатами занимается на фабрике. И взгляд у него был въедливый, пристальный, запоминающий. Шульц редко появлялся в цехах, еще реже – на фабричном дворе или у нас в подzemелье. Но каждое его появление заканчивалось криками и мордобоем. Он был высок и, должно быть, красив. Говорю «должно быть» потому, что я физически не мог тогда подумать: «Этот немец высокий и красивый». Раньше шло слово «немец» и уничтожало другие слова. И это при том, что интернационализм был воздухом моего детства. Само слово «интернационализм» возникло на школьных уроках, на нем был налет учебной скуки, потому что речь шла о том, что когда-то не все были интернационалистами. Один кинотеатр в нашем городе назывался «Юнг-Штурм», другой – «Руж», третий – «Колизей». У немки бонны по имени Мария Федоровна я еще перед детским садиком выучил первые немецкие слова «ди лампе» и «дер тиш». В музыкальной школе я разучивал фортепианные этюды Кулау. Тетя Грета, жена маминого брата, была немка. Но, конечно, дело было не в тете Грете, не в ее отце дяде Эрнесте – все эти семейные перфекты и плюсквамперфекты мне и в голову ни разу в Германии не пришли. А вот «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Мы наш, мы новый мир построим» – это вспоминалось постоянно. Не я виноват в том, что в первом слое моих немецких воспоминаний отложились только ненависть и страх. Для того чтобы описать Шульца, мне надо поднять два или три слоя своей памяти. Только в третьем вместе с интересом и завистью к тем, кому удавались точные удары ломом, киркой или молотом, откладывалось то, что Шульц – красивый мужчина. То есть я видел, как хорошо одевается Шульц, как ловко движется, когда обходит станки, поднимается или спускается по лестнице, и как значительно облегает его поверх костюма длинный коричневый халат. Такой же точно, как на всех мастерах, но чище, новее, длиннее. Вещи на мне всегда сидели плохо, и я уже знал, что хорошо сидят они на тех, кто хорошо сложен. В избобличающем взгляде Шульца как будто постоянно мерцали те несколько русских фраз, которые он знал. И еще было в нем нечто такое, словно уличал он не в уклонении от лагерного режима, а в чем-то гораздо более важном и болезненном: в слабодушии, недостатке характера – во всем том, в чем я сам постоянно уличал себя. Смешно мне было сравниваться

с главным инженером. Но моя надежда, которая неотступно искала какую-то опору, не могла миновать Шульца. Он был техник, а не надзиратель, вроде ненавидимого всей фабрикой (и немцами, кажется, тоже) Гусятника.

Гусятник не ради воскресенья надел форму штурмовика. Он всегда в ней ходил. Лишь иногда вместо форменного пальто надевал кожаную куртку. Его дом стоял рядом с фабричной территорией, земельный участок смыкался с фабричным земельным участком. Эта часть фабричного двора была отведена под свалку. Здесь кончались железнодорожные пути, валялись обрезки ржавого железа, здесь были запасные, никем не охраняемые ворота. Как раз к воротам примыкал участок Гусятника, там паслись его белые гуси, из-за которых он и получил свою кличку. Через эти ворота Гусятник проходил на фабрику, и, кажется, охрана этих ворот лежала на нем и его семье. У него было очень узкое худое лицо, и весь он был маленький и жилистый. В своей коричневой форме он появлялся в разных концах фабричного двора, но ни в одном месте у него не было дела. Едва он показывался, кто-то предупреждал:

– Гусятник идет!

Я удивился, однажды увидев его за работой. Он управлял парой тяжелых ломовых лошадей, возивших плоскую широкую платформу с невысокими бортами, она напоминала автомобильный кузов. Платформа была нагружена мешками с картошкой. Гусятник сидел на высоком кучерском месте. Был в галифе и сапогах, но в рабочей куртке. Привычно заматывался на лошадей. Платформу подкатил к складу фабричной столовой и помогал сгружать мешки. У него были ухватки грузчика и нетерпение здорового человека, который имеет дело с теми, кто не годится для тяжелой работы. Оказывается, помимо надзирательских обязанностей, у Гусятника была работа. Он заведовал фабричным сельскохозяйственным участком.

Теперь он в знакомой всем форме стоял рядом с Урбаном и Шульцем. За их спинами держался Ганс – единственный на всей фабрике немец, который катал тачку в литейном цеху. Он был глуховат и коренаст, как Андрий. Но в отличие от Андрия был постоянно сосредоточен на чем-то веселом. Мурлыкал себе под нос или как будто прислушивался к забавной музыке, которая звучала у него внутри. Эта бодрая музыка звучала в нем и когда он катил из цеха пустую тачку, и когда впрягался в полную, и когда лопатой набрасывал в тачку формовочную массу или песок. Прежде чем подхватить полную тачку, он, будто в предвкушении удовольствия, потирал руки, а первый шаг делал под первый ударный такт мелодии, которая к этому моменту созревала в нем. Он топал правой ногой в деревянном башмаке и дальше тоже будто отбивал такт правой ногой. Под тяжестью добросовестно наполненной тачки плечи его провисали. Он время от времени встряхивался на ходу – выпрямлял плечи. От шеи до подбородка кожу его стягивал шрам. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, Ганс дергал подбородком, словно старался завести его как можно дальше за левое плечо, а шею освободить от тесного воротника. Веселые глазки его при этом таращились. Они постоянно таращились, будто Ганс торопился не упустить то, что доступно слышавшим. Это был самый незлой на фабрике немец. На него, мурлыкающего, напевающего, топающего деревянными башмаками, было легко смотреть. Его-то я никак не ожидал увидеть здесь. Форма на нем морщилась клоунски, фуражка на дергающейся голове сбилась и сидела неровно. Но подбородок тщательно выбрит, а маленькие глазки таращились значительно.

Мука моя была еще и в том, что до четырнадцати примерно лет со мной случались только понятные вещи. К обширной области непонятного, с существованием которой считаются все взрослые, жизнь моя еще просто не подошла. В лагере я рос не только физически. Но оттого-то и выворачивалась душа, что нечем было мне понять этих жителей рурского городка Фельберта, которые приехали сюда на велосипедах, трамвае, пришли пешком – дома их были тут же, поблизости.

Может быть, самое страшное – не лагерь, а этот вот город, по которому гонят тебя. Дело даже не в том, что идешь по дороге, как лошадь, а на ногах у тех, кто идет рядом, деревянные башмаки, о которых дома никогда не слышал, – можно, в конце концов, достать подержанные ботинки, выменять их на что-то. Случается иногда пройти полквартала, квартал по городу и без конвоира. Что-то перенести – у немца оказались спешные дела, он показал куда и пригрозил: «Абер пас маль ауф!»¹¹ И вы идете, как люди, тротуаром, хотя самый осторожный, конечно, держится поближе к бордюру, чтобы в любой момент можно было сойти на дорогу. И не напрасно держится – обязательно встретится немец, который сгонит всех на проезжую часть. Да еще конвоира разыщет и на него накричит. И тот не пошлет скандалиста подальше: «Занимайся своим делом!» – а тоже начнет кричать и замахиваться. Нет, дело не в том, что не вынесут хлеба, не дадут сигарету – этого они просто не знают. Нет у них, что ли, привычки размягчать себе душу подачкой, да и сами на карточки живут. Хуже, что и тротуар, и сигарета для них – привилегия.

Улицы немецких городов я видел участками. Метров сто городской улицы было видно с того места, куда нас в Вуппертале привозили из пересыльного лагеря разгружать картошку. Пахло дымом привокзального района. С точильным воем проносились вагончики подвешенного трамвая. В металлическом их вое было что-то самолетное, и наклонялись они на повороте, как самолет на вираже. Как раз над нами висела ржавая предохранительная сетка. Сквозь ее ячейки было видно, как по лестнице к трамвайной остановке поднимались люди. Красный вагончик был с прицепкой. Его укрепленные на крыше колеса сразу же начинали выть, потому что с места трамвайчик попадал в вираж. Это продолжалось весь день, пока мы разгружали картошку. Улица уходила вниз. Видна была витрина продуктового магазина и рекламная вывеска пивного бара на углу. Бульжник и асфальт были темными от постоянной сырости. Туман среди дня так сгустился, что в магазине и баре зажигали свет. Лампочки накаливались рекламные, цветные. Когда из крытого грузовика я выпрыгнул на мостовую, я поразился забытому ощущению – каменной твердости бульжника под ногами. Я ничего не знал об этом ощущении до тех пор, пока меня не лишили его. Уже месяц под моими ногами были пол железнодорожного вагона или барака, обочины железнодорожного пути или лагерная площадь. И вот, оказывается, я ногами забыл, какой каменной твердости городские улицы. И на свет магазинной витрины я никогда не смотрел с таким чувством, пока то, что находится с той стороны витрины, было мне доступно. По лестнице к трамваю поднимались мужчины в плащах, с портфелями и без портфелей, женщины в шляпках, с сумочками. Красный трамвайчик уносил их к жизни, которая по законам «нового порядка» должна быть отныне навсегда для нас закрытой. Даже это ощущение каменной твердости городского бульжника становится привилегией, которой они не намерены с нами делиться. На нас они не обращали внимания. А я смотрел на тяжело провисшую предохранительную сетку, которая страховала их, как гимнастов в каком-то уличном цирке, и думал: «Живете, будто ничьей жизни вам не жалко, ни чужой, ни своей, а сетку натягиваете, бережетесь!»

И еще так же случайно приходилось видеть участки городской улицы, трамвайные рельсы, аккуратно утопленные в аккуратный бульжник, дома с высокими крышами, кирху с часами, угольный склад на товарной станции. Носили кокс в котельную, выгружали шлак, складывали доски. Нас привозили на черные дворы, заводили в сараи, подвалы. Таким был город для нас: город подвалов и черных дворов. И все это приходило ниоткуда, уходило в никуда и словно не было ориентировано по отношению к частям света. Лучше всего я, конечно, знал улицы, которыми нас гоняли на фабрику. Глуховатые пять кварталов без магазинов и кафе, почти без прохожих, с нелюбопытными какими-то окнами в домах. Ни разу никто оттуда не взглянул на нас, хотя нашу колонну можно было услышать за два квартала по

¹¹ Смотри у меня! (Нем.)

деревянному грохоту, щелканью и шорганью. Привычных для меня балконов на этих домах не было. В воскресенье окна бывали открытыми, с подоконников свешивались выброшенные на просушку пуховые перины.

Твердость булыжника на этих улицах была вековой. Сами блики на зеркальных оконных стеклах казались старинными. И связь этих оконных бликов с прочностью булыжника и гранитностью бордюров, на которые мы смотрели с мостовой, казалась вечной, нерасторжимой. И все здесь было сделано на века, на ежедневное бережение. Парадные двери двухэтажных особняков, решетки палисадников. Мы проходили, и тишина на улице восстанавливалась. Только затемнения да наша колонна напоминали о далекой войне. Ничто здесь не было разрушено, и это вызывало страшную тоску и ненависть, будто останавливалось время.

И вот теперь люди, живущие в этом городе, пришли к нам с обыском. Встречаясь с ними на фабрике, я смотрел на них с опасением и неприязнью. Но и надежда моя ни одного из них не обошла. Она ответила бы на малейший сигнал. Я, конечно, чувствовал, что коричневая форма, морщившаяся на Гансе, не означает ничего. Глазки его, как всегда, таращились непониманием, шея дергалась, и только подбородок при этом значительно выдвигался вперед и нижняя губа оттопыривалась. На Шульце совсем не было формы. Он был в шляпе и цивильном пальто. Но все же яркая форма их всех объединяла и соединяла. Их отделяли от нас утренняя сытость, утреннее здоровье, запах сигарного и сигаретного табака, воскресная охотничья веселость. Должно быть, на фабрике, в цеху каждый порознь они не так ощущали разницу между нами. То, что они ее ощущали сейчас, ясно проступало на их лицах, как следы недавнего утреннего бритья.

Все это где-то откладывалось в моей памяти, хотя мысль моя была занята не этим. Во сне на меня кидалась собака, и я старался вспомнить, укусила ли она меня. И свой сон, и собаку, которая бросалась на меня во сне, я вспомнил тотчас, как только переводчик объявил, что в лагере будет обыск. Страх, который у меня вызвали его слова, пришел как бы из сна и словно был его продолжением. Но вот я забыл, укусила ли меня собака. Только что я смотрел в слепые от напряжения, от скрытого желания указать хоть на кого-нибудь, чтобы хорошо сделать свою работу, глаза переводчика, только что облегченно вздохнул, когда он прошел мимо. Но оказалось, рано расслабился. И досада на то, что я глупо расслабился, обожгла меня. Выхода не было, и я вновь и вновь пытался вспомнить, укусила ли меня собака во сне. Володя спросил:

– За баландой поехали? Не видел?

В воскресенье баланда только раз в день, но почище, чем в будни. И все этапы – собираются ехать, поехали, вот-вот приедут, привезли – пропустить было невозможно.

Я пожал плечами.

– Не видел.

Володя тронул Андрия.

– Андрей, – спросил он, стараясь говорить раздельно, чтобы Андрий мог прочесть по губам, – за баландой поехали?

Андрий стоял как в колонне, остановившейся перед фабричными воротами. Опущенные глаза, унылое лицо, одно плечо выше, руки висят как плети. Он смутился, забеспокоился, как мать, которую любимый сын застал врасплох просьбой поесть.

– Не знаю, – гнусаво ответил он и повернулся ко мне за поддержкой: – Не видел?

Он и не слышал ничего из того, что говорил переводчик. Стоял, погруженный в свои мысли. И только сейчас затосковал из-за того, что не может угодить Володе. А для Володи, как и для многих в наших шеренгах, прошла первая неопределенность, первое напряжение. Его отпустило, и он сразу же спросил о баланде.

Рядом со мной стояли мои одногодки: Костик и Дундук. Костик – земляк. Только случайность помешала нам встретиться еще до войны – дома наши были на соседних улицах.

Дундук – западный украинец. Он так дичился вначале, что простейший вопрос: «Как тебя зовут?» – принимал за подвох.

– Новенький? – спросил я у него, когда его привели к нам в подземелье. – Откуда?

Он не ответил и не показал, что услышал.

– Глухой, что ли? Как тебя зовут?

Он смотрел или на носки своих «солдатских» ботинок, или в сторону, так что глаза его даже косили. Я встряхнул его, но и тогда не смог поймать его взгляда. Как ни старался оказаться в поле его зрения, он упорно отводил глаза.

– Ну вот я – Сергей! – надрывался я оттого, что не мог преодолеть этого непонятного упрямства. – А ты? Деревенский? Ну что от тебя убудет, если ты скажешь, как тебя зовут?

Подошел Володя.

– Не говорит, как зовут! – сказал я ему.

– Правда? – засмеялся Володя, – Ну не говори! Мы сами придумаем, как тебя называть. Что-нибудь найдем!

Так часа два он работал вместе с нами и только потом, все так же глядя на носки своих тяжелых ботинок, сказал:

– Василь.

Я не сразу понял. А когда догадался, закричал:

– Василь! Смотри, какую тайну выдал! Так долго держал в секрете!

Голова у него была круглая, стриженная, щеки по-домашнему полные и губы, сомкнутые выражением такого упрямства, словно он, видящий меня в первый раз, знает обо мне много дурного. Вон как долго торговался, прежде чем назвал себя. И сейчас еще небось жалеет, что продешевил. Голову он набычивал и наклонял так низко, что подбородком упирался в грудь. И все стремился стать к нам боком, будто боялся сглаза. Все в этой застенчивости мне казалось неправдоподобно преувеличенным. Тем более что за этой неправдоподобной застенчивостью я улавливал непривычную мне хватку и смышленность. Работал парень ловко, все понимал без слов. Там, где надо, напирал плечом на вагонетку, ходил по глине, по щебню быстро, не оскользался. Это его упрямство, соединенное со смышленностью, вызывало опасения. В лагере надо побыстрее договариваться, тут нечего ваньку ломать – покрывать друг друга приходится каждую минуту. Раздражало меня еще и то, что, как мне казалось, я уже прекрасно знал этот тип лица. Больше, чем обыденное, упрямое выражение, этих людей отличает то, что они не оставляют докурить. Не оставляющие докурить сразу же становятся всем известны. По-своему это очень цельные и самостоятельные люди. Люди с такой привычкой жить, которая непонятна и чужда большинству. Всеобщее отчуждение они легко переносят не потому, что сильны, а потому, что не нуждаются в обществе. Чаще всего это крестьяне из присоединившихся перед войной западных областей. Человек, нуждающийся в обществе, зависящий от его оценки, не перенесет не то что презрения – общего отчуждения.

До одного странного случая я не мог преодолеть обыденности Василя и своей неприязни к нему. С горы отвальной породы была видна кирпичная городская кирха, на которую мы смотрели, как только вывозили вагонетку из туннеля, – кирха была с часами. Как-то мы остались с Василем, и я попросил его сказать, который час. Он даже не повернулся.

– Я плохо вижу, – сказал я. – Стал бы я тебя просить! Не можешь повернуться?

Василь отворачивался, и меня осенило, потому что это назревало давно:

– Ты не понимаешь по часам? Может, и читать не умеешь? Дундук!

И, словно Василя освободило наконец, он кивнул. И потом, словно исчезло главное, из-за чего он никак не мог сойтись с нами, он перестал набычиваться и упрямиться. Смеялся, когда ему показывали, как он упирался подбородком в грудь и смотрел на носки своих ботинок. И вообще оказался не только смышленным, но и смешливым. Не только про-

сил, но и оставлял докурить. К времени он почувствовал тот же интерес, что и мы. Вначале говорил, где находятся большая и маленькая стрелки, а потом стал разбираться сам. Теперь только маленький, ослабленный давним недоеданием Костик с высокомерным удовольствием называл его Дундуком. Из-за своей шоргающей походки доходяги Костик всюду опаздывал. Позже всех подходил к раздаче баланды, к концу разговора. И чем позже подходил, чем более неурядица вмешивалась в разговор, тем более высокомерным делалось у него выражение лица. Костик был редкостно красив. Он давно уже умывался только «до черты», спал, почти не раздеваясь. Шея была в серой литейной пыли, этой же пылью был обметан пух на верхней губе. Но под этой болезненной чумазостью и истощенностью, под несмытой литейной пылью удивительная красота его светила еще ярче. Движения его были медлительны от слабости, а казалось, от сознания собственной красоты. У взрослых он пользовался некоей свободой и тем самым вниманием, которого так не хватало мне. Поддерживали его, конечно, не пайкой, а уменьшительным именем Костик. А самый авторитетный из лагерных прибалтанных Николай Соколик звал «сынок» – усыновлял. . . И Костик с таким выражением, будто ему одному известно все самое главное о жизни, говорил Василию:

– Дундук!

Андрию Костик почему-то не прощал привязанности к Володе, ругал его:

– Глухой! – и слабо всплескивал грязными руками, обращался к кому-нибудь за сочувствием. Андриева бескорыстная привязанность казалась ему нелепой.

Если в лагере кому-то была дана кличка, Костик только так его и называл. У лагерных прибалтанных он перенимал их жалкое высокомерие и театральность жестов и манер. Но все равно нелепое его высокомерие не могло оскорбить. Оно было слабым, как его шоргающая походка.

Вряд ли подружился бы мы с Костином, если бы встретились до войны, но он был земляк, почти сосед, и вся моя жадность на дружбу обратилась на него. Однако дружить с ним было трудно. Он и меня встречал своим высокомерным взглядом, высмеивал:

– Как же ты из Германии дорогу домой найдешь? По шпалам?

Ему нужны были свидетели торжества надо мной. И хотя разговор у нас был тайный, он окликал кого-нибудь:

– Домой собирается по шпалам!

И отворачивался, будто на такую глупость ему и смотреть было невыносимо.

Я искал напарника для побега и к Костику поостыл. Дело было не только в том, что он говорил. Куда ему было бежать! Со своей шоргающей походкой он и в лагере всюду опаздывал. Но все же шкафчики наши были рядом. Рядом были нары, на пересчете мы держались вместе. Однажды попытались вместе украсть картошки. Кухонный фабричный барак задней стеной примыкал к отвесной земляной горке. Между стеной и горкой оставалась щель. По этой щели я прошел к забитому ставней, единственному с этой стороны окну. Ставня легко подалась! Стекол в раме не было. Дважды в день – в обеденный перерыв и после работы – мы все проходили по деревянной лестнице с горки и на горку. Это было очень людное место, и только голод заставил меня рискнуть. Я разыскал Костика и объяснил ему, в чем дело. Он побледнел, все блатное с него слетело, однако пошел со мной. У него была небольшая, чуть больше противогазной, холщовая сумка. С этой сумкой я залез в барак, а Костик должен был сбегать в цех и вернуться ко мне с бумажным мешком из-под цемента. Сумку я наполнил быстро, набил картошкой карманы. Ставню я прикрыл и сидел почти в полной темноте. Это была комната-овощехранилище. Каждую минуту сюда могли войти, за дверью в кухне были слышны голоса, слышны были шаги тех, кто поднимался или спускался по лестнице, а Костика все не было. Он, как всегда, запаздывал, и я ругал себя за то, что связался с ним. Прогудела сирена ночной смены, вот-вот должен был начаться пересчет, надо было выходить. Плохо, что выходить приходилось вслепую. Если кто-то идет по лестнице, он тотчас

увидит меня. Я толкнул ставню, вылез наружу... и пошел к двум полицейским, которые уже поднимались по лестнице, но остановились, чтобы посмотреть, кто это лезет из окна кухонного барака. Так в сопровождении двух полицейских, забравших у меня сумку, я и явился на пересчет. Костик был там. Он не нашел мешка, опоздал и по сирене пришел на пересчет. Мне повезло. Картошка была фабричной, полицейские – лагерными, поэтому пинки, которые я получал по дороге, можно было выдержать. Каждое воскресное утро теперь начиналось для меня часа на три раньше, чем для остальных, – я был оштрафован на шесть воскресений. В темноте полицейский выкликал длинный ряд номеров. Я вскакивал, когда он называл мой.

Моя койка первая во втором ряду от стены. Когда с лестничной площадки смотришь в зал, видишь первые койки четырех длинных рядов, уходящих в темноту. Всего в помещении пять рядов. Но койки пятого ряда пристроены уступом, и от двери их не видно.

По лагерным правилам дверь на лестничную площадку всегда открыта. Поэтому, просыпаясь, я сразу же вижу полицейского. Другим штрафникам легче. Их от полицейского отделяют ряды коек. Поднимаются и одеваются они, не глядя на него.

С моего места ночью видны две лампочки: синяя, ночная – у входа и серая, соломенная – на лестничной площадке. Ночью лестничные площадки освещены ярче, чем наши помещения, и мне кажется, что синий маскировочный свет неподвижен, а лестничный поднимается из умывалки вместе с запахом карболки и извести. В неподвижном взвешенном синем свете мне видны цементный пол и секции банных шкафчиков из серого прессованного картона вдоль стены. По этому синему свету, который освещает половину моей койки, просыпаясь, я догадываюсь, где я. И каждый день целую минуту я надеюсь, что и синий свет, и цементный пол, и ряды банных шкафчиков – это наваждение, которое вот-вот рассеется.

У меня в лагере всё как у всех: две некрашенные бортовые доски, четыре деревянных стояка и потолок из досок верхней койки, сквозь которые мне на лицо сыплется соломенная труха, когда сосед ворочается. Два одеяла – тоже как у всех. И одно отделение банного шкафчика. Но в лагере всё как у всех, не бывает. Мне пятнадцать лет, я никогда в жизни не видел нар, мне не с чем сравнить этот лагерный ужас, чтобы хоть как-то его освоить. И я не знаю о времени того, что знают о нем взрослые люди, – что время можно пережить.

Порог нашего помещения полицейский не переступает. Он стоит на лестничной площадке, но на голой, лысой его голове, на очках синяя тень от нашей ночной лампочки. Он полуодет – подтяжки поверх толстой ночной рубахи. Не он погонит нас на работу, другие полицейские топчутся сейчас внизу, берут винтовки, вешают на грудь фонарики, по мокрым, лоснящимся их плащам мы узнаем, что на улице холод и дождь, а он разбудит нас и пойдет досыпать в свою комнату.

– Зибн хундерт драй унд зегциг!¹²

Это я. Вскакивать надо стремительно. Не дай бог ему придется кричать еще раз. Чтобы быстрее встать, я оделся еще ночью и еще ночью замерз. Это особая промозглость, когда спишь одетый и знаешь – во сне знаешь, – что, когда проснешься, станет еще холоднее. Все лагерное отчаяние сходилось в этом подъеме. Нет ничего тяжелее, когда в общей беде тебя выделяет еще и твоя собственная неудачливость. Беда так велика, что слабость перед ней, неповоротливость, неудачливость кажутся непростительной глупостью. Я видел у многих лагерников такое отношение к неудачливости, и мое отчаяние усиливалось чувством вины: весь лагерь еще живет сном, еще цепляется за эту сонную надежду – может, сегодня обойдется, может, никуда не погонят, – а меня уже гонят работать на немцев. Вся моя жизнь была неправильной потому, что не накопила в моих мышцах энергии и силы, способных ориентироваться в таких обстоятельствах. Даже в том, что я не мог спать раздетым, сказывалась моя слабость, моя уступка общей беде. Я видел, что самые сильные и энергичные

¹² Семьсот шестьдесят третий! (Нем.)

спали раздетыми, и с вечера раздевался сам. Но за ночь несколько раз просыпался от холода и надевал на себя всё, что можно было надеть. Так что утром по моим изжеванным брюкам и пиджаку все видели, что я спал одетым. Я, конечно, догадывался, что я не очень смелый человек. И страдал, когда это приходило мне в голову. Моя храбрость далеко не всегда была со мной. Прежде чем решиться на какой-нибудь поступок, мне надо было подождать, пока ее накопится достаточное количество. Но обстоятельства почти никогда не отпускали для этого времени, и мне приходилось перенапрягаться, поступать так, будто решимость уже накопилась. Поэтому я и искал себе старшего. Мне было легче, когда чья-то смелость вела меня. Я был уверен, что взрослые смелы потому, что смелость должна увеличиваться с разумом и чувством собственного достоинства. Лагерная жизнь ежедневно показывала мне, что не все взрослые смелы. Но никакие примеры «из жизни» не могли изменить моих мыслей. Мои мысли мне нравились, а примеры – нет. Я вообще заметил, что убеждения устойчивее любого количества примеров, потому что убеждения тоже ведь из жизни. Во всяком случае, робость мне казалась не природным свойством, а болезнью, ленью, эгоизмом души. И страх – свой или чужой – потому и был отвратителен, что был следствием эгоизма. Я ненавидел тех, кто вызывал у меня страх, но презирал и себя за то, что не мог не бояться. За свой нынешний страх я винил свою прошлую жизнь, в которой слишком много было материнской любви и заботы.

Фронт через мой родной город проходил дважды. Мы долго жили под непрерывной бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Надо было ходить за водой, добывать еду и просто бегать с ребятами по разбомбленным улицам. Хочешь не хочешь, рисковать приходилось каждый день, и у меня было время присмотреться к себе. Я шел за теми, кто был старше и смелее, и никогда не вмешивался в споры старших ребят, выбиравших, куда пойти. Меня и тянуло к смелым и предприимчивым потому, что самому не хватало сил на то, чтобы не быть хуже других. И не очень много мне запомнилось из того, что приходилось делать вместе с другими. Только один случай запомнился хорошо. Во время наших походов за оружием мы набрали на подбитый немецкий бронетранспортер. Ребята забрались в бронированный кузов, гремели пустыми канистрами, а я сел в кабине на широченное сиденье, посмотрел сквозь толстенное стекло, которым была заделана смотровая щель, и сказал, что стекло пуленепробиваемое.

– Откуда знаешь? – спросили меня.

– Читал.

– А вот садись за это стекло, – сказали мне, – а мы выстрелим.

Некоторая моя начитанность иногда вызывала раздражение. Я поудобнее устроился за броневым щитом и потонул на широченном сиденье так, что колени уперлись в подбородок. Пришлось передвинуться на край сиденья и наклониться вперед. В стекле от толщины была едва заметная мутноватость, но видно было так же хорошо, как сквозь оконное. Вокруг бронетранспортера были разбросаны каски, немецкие гофрированные жестяные коробки, канистры. В кабине уже было порвано сиденье, пахло железом, а перед стеклом примерялся с винтовкой мой приятель. Винтовку мы нашли сегодня и таскали ее целый день с собой.

Когда приятель стал целить мне в лоб, я невольно отклонился. Теперь бы я не поручился за то, что где-то читал о пуленепробиваемом стекле. Может, читал, а может, только слышал от такого же, как я. А если и читал, так, может быть, это совсем другое стекло.

За мной следили и сразу крикнули:

– Не отклоняться!

Только по другим я понял, как трудно было мне первому не отклониться. Потом все захотели посмотреть сквозь пуленепробиваемое стекло, как в тебя в упор будут стрелять из винтовки. Но многие все-таки не выдерживали и отклонялись. А кто-то вообще вышел из кабины.

– Да ну его!

Но мне и легче было – я сильнее верил в пуленепробиваемое стекло. Главной моей предвоенной страстью было чтение. В иные минуты мне казалось, что вся моя предвоенная жизнь – это чтение. Я, конечно, знал, что и раньше мальчишки моего возраста зачитывались, и даже примерно теми же книгами, но был уверен, что мое чтение – особое. «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор», – пелось о моем времени, а не о том, которое только будет. И мотор, и крылья вызывали восторг, но еще больше привлекала меня сама пламенность этой строки. Было время осуществления напечатанных слов, даже если они были написаны очень давно. И Жюль Верна, и Майн Рида, и даже Дюма раньше мальчишки не могли так читать. Все слова в их книгах были обновлены, стали многоцветнее и содержательнее, потому что получили опору в нашем времени. Сбылись или сбывались все победы добра и все технические прозрения. Восторг по этому поводу был так велик, что возникало сомнение, осталось ли что-нибудь на нашу долю. И потому не слишком беспокоили меня моя домашняя лень, изнеженность, поощряемые матерью, – у таких, как я, было теперь время спокойно взростеть.

И вот среди больших и малых потрясений, которые принесла война, была удивительная для меня утрата интереса к чтению. Читая книги, я прожил сотни жизней, но тело мое в этом не участвовало. Теперь жило тело. Оно тяжело переносило голод и холод и не было готово к борьбе со страхом смерти, но я старался не уступать ему. Нет, никогда я не пожалел, что так много времени тратил на книги. Я не расставался со своей страстью, а переносил ее на конец войны, куда все переносили свои не связанные с войной любимые дела. Но, конечно, с мальчишеским чтением было покончено, а к взрослому я не был еще готов. Взростеть приходилось стремительно, и каждый день выяснялось, что я мало знаю и еще меньше могу.

Со страхом я приближался к первой немецкой печатной продукции, приклеенной к стене дома. На желтой, как сахар-сырец, бумаге было изображено носатое, ушастое лицо в пилотке со звездой, а подпись гласила: «Бей жиду политрука, морда просит кирпича». Меня поразила мелкость злобы, не сопоставимая, казалось бы, с результатами, достигнутыми немецкой армией. И еще поразила какая-то запущенная, давняя и непечатная малограмотность, какая-то старинная уличная глупость, какое-то безобразие, заключенное в самой конструкции этой фразы. А я ведь и ожидал прочесть что-то угрожающее, враждебное себе. И еще мне попадались газеты, издающиеся на русском языке. Я брал их со страхом, потому что боялся оскверниться, боялся, что какие-то строки вызовут у меня интерес, с чем-то я против воли соглашусь и тем самым совершу невольное предательство. Я ведь знал власть печатного слова над собой. Но этому серо-зеленому дурачью нечего было сказать. Один раз они похвастались гардеробом какого-то немецкого шофера, у которого было двенадцать рубашек. И дело было даже не в этом холуйском хвастовстве. В руках издателей газеты умирали сами слова. Я это сразу заметил. Во фразу их соединяла не живая энергия, к которой я привык, а истерические угрозы и воспоминания о том, чего ни вспомнить, ни восстановить нельзя. А там, где не было угроз, происходило что-то еще более страшное – непереносимое опрощение жизни, ее целей. Опрощение смысла слов. Прекрасные, многоцветные слова умирали, делались серыми, как ворсистая газетная бумага. Их убивало отсутствие жизненной цели, сколько-нибудь пригодной для печати, у тех, кто работал в газетке. Я это очень хорошо чувствовал. И, может быть, поэтому мне ни разу в голову не пришло, что немцы могут победить. Мысль эта не появлялась, потому что не было для нее места. Она была противоестественна, и противоестественность эта была кричащей. Отец мой родился в многодетной рабочей семье, в детстве работал мальчиком в какой-то керосиновой лавке, воевал в Гражданскую, учился, стал служащим, и все это потому, что, как он любил говорить, таков естественный порядок, коренящийся в самой природе вещей. «Сила вещей», «природа вещей» – это была его любимая присказка, которая мне порядком надоела. И было бы,

конечно, вопреки силе, вопреки природе вещей, если бы отец захотел забыть все, чему он учился, и вернулся в керосиновую лавку на должность мальчика. А ведь все слова в немецких газетках, в немецких приказах и листовках не годились даже для разговора с мальчиками из керосиновых лавок. Родиться эти слова могли только в головах людей, глупых в чем-то главном, в чем-то основном. И это были даже не мысли мои, а то, что лежит в основании мыслей: чувства, ощущения. С этими чувствами я смотрел на немецких солдат, на немецкую технику, которая шла через наш город. С этим же чувством я смотрел на полицая, который стоял на лестничной площадке и выкрикивал наши имена. Синяя тень от ночной лампы лежала на его лысой голове, на стеклах сильных очков. Это был ночной полицай, он почему-то часто дежурил ночью. Я привык видеть его по утрам на лестничной площадке полуодетым, еще не совсем проснувшимся. Коренастое тело этого пожилого человека, казалось, было полно раздражительной энергии. По лестнице он поднимался быстро, но сопел так, как будто преодолевал чье-то враждебное сопротивление. Ходил, поворачивая голову на чей-то выкрик тоже так, будто для каждого из этих действий ему нужно было развить сокрушительную энергию. И, хотя глаза его увеличивали стекла очков, казалось, что их пучила ищущая выхода ярость. Каждое утро он кричал в открытую дверь:

– Ауфштеен!¹³

С сопением и топотом бежал вверх, на третий этаж, и там тоже кричал: «Ауфштеен!» Это был один из самых злобных и презираемых полицаяев. Плохое зрение и какая-то общая ущербность – его даже свои все время держали в ночной смене – делали его гневные вспышки жуткими и комическими. У него и кличка была клоунская – Апштейн. Каждое утро в ответ на его призыв подниматься кто-то выкрикивал:

– Никс ферштеен!

И он, сопящий, топающий, врвался к нам, замахивался, ревел. В стеклах очков стояли его расплывшиеся неподвижные глаза. На его дежурство выпадал и отбой. Он бегал по этажам, кричал:

– Файрамт!¹⁴

После отбоя давалось пять минут, чтобы лечь и замереть. Электричество выключалось из вахштубы. Гасли обычные лампочки, зажигалась синяя. В пять минут многие не успевали управиться. За ними Апштейн начинал охоту. Слышно было, как он кого-то бил на первом этаже. Тогда у нас начинался крик. Добровольцы, чьи койки были расположены ближе к дверям, выходили на площадку, чтобы предупредить, когда Апштейн бросится на второй этаж. Они успевали добежать до своих нар, накрыться одеялом. Полицай меняли тактику. Свет гас во всем лагере. Мы слышали, как в полной темноте тяжело прокрадывался Апштейн. Несколько минут все прислушивались к его передвижениям. Из вахштубы давали полный свет. Апштейн с револьвером в руках бросался к ближайшим нарам, срывал одеяло, тыкал стволом в лицо. Палец на спусковом крючке подрагивал. Неподвижные расплывшиеся глаза заполняли все стекла очков. Ему на помощь из вахштубы прибегали другие полицайи. После приходилось полночи чинить поломанные нары, собирать солому. Но чаще бывало по-другому. Полицайи дежурили по очереди, и только Апштейн был постоянный ночной. И вид у него постоянно был ночной, полураздетый. Так он выходил открывать двери ночному конвою, так прибегал к нам. Другие полицайи появлялись в наших помещениях в форме. Ночью они могли вступить и в переговоры. И, если лагерь успокаивался, они вводили грозящего, не выплеснувшего ярость Апштейна. Свет гасили, нервное возбуждение падало, усталость брала свое.

¹³ Подъем! (Нем.)

¹⁴ Отбой! (Нем.)

А по воскресеньям Апштейн выкрикивал номера штрафников. И то, что это был Апштейн, по-особому освещало мою неудачу. Если кому-то в лагере доставалось от Апштейна, он обычно не признавался – попасться Апштейну казалось верхом неловкости.

Костик спал, укутавшись в одеяло с головой. Гордиться ему было нечем. Но, когда вечером нас вернут в лагерь, он встретит меня смехом. Только в первый день он немного смущался. А теперь он держался со мной так, будто победил или, по крайней мере, обманул судьбу. Я попался, а он нет. Вот и взял верх над судьбой и заодно надо мной. Это были какие-то странные расчеты с судьбой, но Костик ведь из всех своих слабых сил старался подражать немногочисленным нашим блатным.

Штрафникам объявляли, что наказание за следующий проступок мы будем отбывать в концентрационном лагере.

Я не отработал своих шести воскресений, а этот обыск просто обрушился на меня. В моем шкафчике стоял бумажный мешок из-под цемента, наполовину наполненный картошкой. Цемент тщательно вытряхивали, но все равно его много оставалось в бумажных складках. Когда лезли за картошкой, бумага хрустела, выстреливала цементную пудру, так что изнутри весь шкафчик был в белой пыли. Как только откроют дверку, обыскивающие сразу увидят и эту цементную пыль, и мешок. Я даже представил себе, как они, чисто одетые, в лакированных сапогах, брезгливо дотронутся до мешка, заставят меня его вытащить, еще раз тщательно осмотрят шкафчик и найдут на верхней полке кинжал. Все это было так неизбежно, что я отчетливо представлял себе их позы, выражения лиц, голоса. Видел, с каким охотничьим торжеством присоединится к этой компании Пауль.

Воровство картошки застало заводскую и лагерную полицию врасплох. Несмотря на ежедневные обыски у ворот, несмотря на то что Гусятник и его помощники переключились на охрану картошки, она все же поступала в лагерь. Тут ее прятали в матрацы, а вечером пекли или варили в суповых мисках. Выставляли сторожевых на то время, пока чистили, и на то, когда варили. Однако нельзя спрятать запах вареной или печеной картошки. И однажды комендант, не переступая порог, потянул носом и объявил, что мы лишаемся печки на сорок дней.

Картошку в бумажном мешке мне дали на сохранение. Кто-то пронес, а хранить опасался, потому что это риск столь же большой и к тому же с каждой минутой нарастающий. В любое время могут войти, перетрясти матрацы, шкафчики. Хозяина картошки я не знал. Я имел дело слевой-кранком. Он стоял сейчас в первой шеренге и не оборачивался. Ему и незачем было оборачиваться – свою долю картошки я получил. Улевой-кранка были ласковое бабье лицо и сточенный на электроточилке палец. Слова его льстили и отрезали дорогу для отступления. Он сказал, что стоящие люди обратили на меня внимание и что от меня зависит, приблизят ли они меня к себе. Внимание стоящих людей, конечно, привлекла моя попытка залезть в кухонный барак. Но самлева-кранк тогда совсем по-другому ее оценил.

– Не умеешь – не берись! – вот что он мне тогда сказал. Это была угроза. Кому-то я навредил. Может, даже закрыл единственный источник, которым другие пользовались умно и осторожно. Или других должен был пустить вперед. Я догадывался, что моя неудача кого-то затронет, понимал, что нетерпение мое было от страха, но не думал, что другие увидят это еще яснее, чем я. И никак не ждал, что от стоящих людей будет говоритьлева-кранк. Люди, о которых говориллева-кранк, сами должны быть на него похожи. Но не устоял, взял картошку.лева дал мне замок, и мой шкафчик впервые стал запирается.

С того момента, как переводчик объявил, что будет обыск, я ждал, чтолева-кранк обернется, найдет меня взглядом, хотя бы подмигнет, подаст какой-то сигнал участия и сочувствия. Рядом с ним стоял Николай Соколик, и было совсем нетрудно догадаться, что это и есть стоящий человек.лева поворачивался к нему, и я видел его бабью щеку. Вот что было ужасно! Эти люди так ясно увидели мою предрасположенность к неудачливости и так

спокойно ее использовали! С того самого момента, как попал в лагерь, я понял, что надо меняться, но не менялся. Видел, как неизбежно вела к беде уступчивость, пугался, когда понимал, что такие, как Лева-кранк, мгновенно меня разгадают, но не мог измениться. Когда-то, не помню уж, по какому случаю, отец сказал мне: «Москва слезам не верит!» Среди других взрослых поговорок и пословиц, которые непонятными и неразгаданными задерживала память, эта показалась мне самой жесткой. Помню, отец был благодушен. Во время воскресной прогулки мы куда-то далеко забрели, рант в новых туфлях натер мне ногу, и я, должно быть, привередничал и капризничал. Слова отца поразили меня. Я спрашивал, почему не верит. Отец объяснял. Но для него было слишком ясно, а для меня слишком непонятно. Я не понял и справился с этим так, как уже привык справляться: раньше не верила. Отец ведь не сейчас, а раньше эту поговорку узнал.

Если бы сейчас я и захотел меняться, то все равно бы не поспел за событиями и людьми. Но я не хотел меняться. Здесь были и мое отчаяние, и упрямство, и ощущение правоты, которое давало мне силы. А такие люди, как Лева-кранк, только усиливали мое упрямство.

У входа в лагерное здание полицейские выстраивались коридором – готовились загонять нас.

Андрей с просительной гнусавостью спросил Костика:

– Не видел, за баландой поехали?

– Глухая нянька! – сказал Костик. – Володя, Володечка! Не видел!

Василь смотрел на носки своих солдатских ботинок.

– У меня картошка в шкафчике, – сказал я.

Костик театрально всплеснул руками.

– Попал!

Володя не повернулся ко мне, но я увидел, как изменилось выражение его глаз.

– Начнут загонять, – сказал он быстро, – иди вперед и выбрось. Пусть ищут, чья!

– Они сами вперед пойдут, – сказал Костик.

– Мешок в цементе, – сказал я, – по цементной пыли найдут.

– Скажи, ключ потерял, – все так же быстро предложил Володя.

– Замок ломают, – сказал Костик.

Они как будто не спорили, а высказывались. Каждый шел от чего-то своего. Володя не обращал внимания на Костика, а Костика нравилось разрушать его предложения. Он стоял, презрительно полуотвернувшись. А в Володиных глазах разгорался сулящий мне какую-то надежду знакомый азарт.

– В уборной пересиди, – будто стараясь сломить мою пассивность, на выбор предлагал Володя. Теперь он смотрел на меня. И Василь, который не вмешивался в спор, оторвался от своих ботинок и смотрел на него и на меня.

– Кто сейчас в уборную пустит! – презрительно сказал Костик. Но и сейчас Володя его не заметил. Странно, но в Володиных глазах был уже не только азарт, но и сожаление, что не ему все это выпало.

– Давай ключ, я пойду вперед и выброшу. Не успею, ключ спрячу. Скажешь, потерял.

И он встряхнул меня, чтобы помочь мне преодолеть оцепенение. А я уже почувствовал, что выход может найтись, что Володя бы его нашел. Во всяком случае, решимости мне прибавилось, и я стал пробираться вперед.

Меня пропускали. Полицейские у входа в лагерное здание действовали так, будто они этот вход от нас защищали. Они ломали шеренги, били резиновыми палками.

– Быстрей, быстрей!

Чуть в стороне Пирек – старший полицейский. Он не слепо идет на толпу, а кого-то выбирает. Распекает его, замахивается, грозит вслед. Пирек брюзглив, вступает в перебранки. При этом на лице его выражение старческой правоты, возмущения всегда остается

как бы на общежитейском уровне. Поэтому новичкам он кажется доступным для просьб, обращений, разговоров. Даже наткнувшись на пухлый старческий кулак, они продолжают выделять его среди других полицейских, сохраняют к нему род странной симпатии: все-таки не бессловесный – грозит, возмущается, что-то объясняет. Хоть раз отмеченный Пиреком лагерник сразу же начинает ощущать на себе его внимание. Пирек выделяет его на пересчете, в колонне. Грозит пухлым, согнутым возрастом и тяжелой физической работой пальцем. У Пирека широченные, округленные возрастом плечи и широкая оплывшая грудь. Говорили, что в молодости он работал грузчиком и мог один за два часа разгрузить железнодорожный вагон с коксом. Несмотря на возраст, любит одеваться легко. В лагерь всегда приходит в полуформе: сапоги, галифе, а сверху рубаха с накладными нагрудными карманами, схваченная пояском. И в этой его полуформе, ворчливости, вывернутой возрастом, брюзгливо отвисшей синеватой нижней губе, в пенсне, которое то сидит на мясистом носу, то болтается на шнурке, есть что-то дедовское, домашнее, обманывающее новичков. Каждый вечер он прогуливает пожилую овчарку и в свое и не в свое дежурство проводит ее по всем этажам здания, заглядывает в межкоечные коридоры, на вторые этажи нар. Этого не делает ни один из полицейских. В синем ночном свете, неожиданно проснувшись от чьего-то пристального взгляда, можно увидеть над собой бледное широкое лицо, недовольно шевелящиеся губы. От плаща его пахнет волей, дождем, улицей. Этот запах холода и воли он один приносит в лагерь, потому что другие полицейские обычно раздеваются у себя в вахтштубе. Среди лагерников у него есть симпатии и антипатии. С теми, к кому он настроен благодушно, Пирек переговаривается на пересчете. Обычно это люди в возрасте, физически крепкие. Преследует Пирек ослабленных и больных. Удивительно, как совпадает неприязнь жестоких людей. Пирек, как и Пауль, постоянно придирается к Брониславу, передразнивает его невнятицу, считает симулянтом. Каждое утро Пирек появляется у нас на этаже перед нарами замороченного, забитого деревенского парня, который от дурной еды, от всего этого лагерного ошеломления ночью не может проснуться и мочит под собою матрац. Распространяя чистый запах холода, в начищенных сапогах, Пирек стоит над ним, грозит как будто благодушно, затем стаскивает матрац на пол, пинает сапогом, обещает кому-то, что положит парня над ним, на верхний этаж нар. Но еще ужаснее видеть, как Пирек бьет тех, к кому он проявлял какое-то расположение. Поляка Вальтера, который по-немецки говорил лучше полицаев, Пирек выделял и приближал, а затем жестоко избил на пересчете при всех. Вальтер, который перед этим и говорил, и одевался, и держался так, будто ждал, что в его судьбе вот-вот произойдет важная перемена, сник, словно разом сожгли его бодрую походку и громкий голос свободного человека. Громкий голос нас всех раздражал, но жалко было видеть, как сломался этот красивый блондин, как он не может простить себе вчерашних надежд и нынешнего унижения.

Пирека я опасался больше всех полицаев. Пробираясь к дверям лагерного здания, я не сумел уберечься от чьей-то резиновой дубинки, хлестнувшей по спине. И тут же почувствовал знакомое сотрясение, будто прыгнул с большой высоты и неудачно стал на пятки. Это Пирек заметил мое рвение и ударил по голове. Так я влетел вместе с другими в лагерную дверь и, увидев, что путь в умывалку и уборную не охраняется, скатился по лестнице вниз. Здесь была привычная полутемнота, ночной маскировочный синий свет, режущий ноздри дезинфекционной вонью гасящейся извести. Я всегда боялся этого места с потеющими сыростью сводами покойницкой, с тусклым светом слабых лампочек, которым, казалось, разгореться ярче мешали густые дезинфекционные испарения. Они скапливались под низким подвальным потолком, липким налетом покрывали лампочки. Ночью я опасался спускаться один. Если просыпался, то долго лежал без сна, ожидая, не соберется ли еще кто-нибудь. Страх был детский, но был он сильнее многих настоящих страхов, с которыми поневоле приходилось справляться. Если попутчика не находилось, а лежать без сна не было сил, я сбегал вниз и, прежде чем войти в уборную, обязательно, даже если знал, что в лагере

никто не умер, заглядывал в умывалку. Синий свет не давал теней. Сумрак скапливался под круглыми цементными умывальными чанами и в самих чанах, сливался на пол и тек к дверям. Это медленное движение синего сумрака пугало меня больше всего. Я спиной его чувствовал, когда убежал наверх.

И сейчас пропитанный вонью карболки и гасящейся извести синий свет ударил мне в нос и глаза. Наверху топали и кричали, а я подумал, что не высижу здесь. Потом меня насторожило движение в уборной. Движение было вкрадчивым, едва заметным – кого-то я напугал. Осмелев, я заглянул и увидел в дальнем углу странного человека, недавно появившегося в лагере. Человек был невысок, значительно меньше меня ростом. Стоял он боком и взглянул не сразу, а помедлив, с опасением. Увидев, что это не полицаи, он как будто не испытал облегчения, а отвернулся. Но мне некуда было уйти, а ему явно нечего было тут делать, и я спросил:

– Тоже прячешься?

Он пожал плечами. Я спросил еще раз. Он ответил с заметным акцентом:

– Не понимаю.

Дней пять тому назад Володя позвал меня вечером на свои нары. Он никогда этого не делал, и я шел обрадованный. На нарах в зеленоватом аккуратном немецком пиджачке, в аккуратно повязанном шарфике, не поднимая глаз, сидел человек, которого в лагере я еще не видел. «С семейного этажа», – подумал я. А Володя спросил меня:

– Пайку получил?

– Получил.

– Большую?

Большой считалась пайка с горбушкой.

– Нет, – сказал я, поглядывая на человека в шарфике и настораживаясь, потому что разговор о пайке имел к нему какое-то отношение.

– Всё съел?

Теперь, прежде чем ответить, надо было подумать. Лучше всего было бы сказать «съел», чтобы прекратить разговор, который Володя с обычной для него легкостью заводил туда, откуда без потерь нельзя вернуться.

– На утро оставил, – сказал я, считая, что это близкий к правде и в то же время сильный ответ.

– Все равно до утра не дотерпишь.

В другой раз я охотно был согласился: «Не дотерплю!» Но сейчас сказал:

– Дотерплю.

Володя засмеялся. Он был прав: дотерпеть до утра мне было еще труднее, чем расстаться с хлебом вообще. Но я стоял на своем. Тут был важный психологический момент. В человеке, который способен поделить пайку на два-три раза, дотерпеть до утра, самостоятельность, сила характера уважались в большей степени, чем само право на пайку. К такому и в голову не придет подступить. Тому же, кто плывет по течению, кто каждый раз уступает голоду, не обуздывает себя, в ком слаб характер и не слышен голос рассудка, кто над собственной жизнью гарцует, пошучивает, хвастает, выставляется, как будто его спрашивают – «У меня долго не лежит!» – такому можно сказать: «Все равно без толку пропадет». А отсюда недалеко до той мысли, к которой подводил Володя. Володино шуточное посягательство (я еще не допускал, что это серьезное посягательство) мне было не просто неприятно – оно заставляло меня сомневаться в Володе. Когда в лагере сильный предмет для своих шуток избирает пайку слабого, то и шутя можно жилы вытянуть. Сильный сам должен чувствовать, над чем шутить нельзя, чтобы не поставить слабого в невыносимое положение. А для Володи и тут, кажется, не было никаких границ.

Мелкие хищники, которые всегда есть среди нескольких сотен людей, попавших в тяжелые обстоятельства, прекрасно знают, как оплести и подавить словом малолетку. Подросток попадает и потому, что нет опыта, и потому, что к самому слову у него еще особое, детское, замороженное отношение. Начинается шуточным розыгрышем, вырывается шуточное обязательство (используются, конечно, и слова о святости, благородстве мужской дружбы и т. д.). Затем глаза шутника леденеют: «Обещал?» – «Но...» – «В следующий раз не будешь обещать». Главная беда для всех одна, но у подростка есть и свои заботы. Опыт у меня был, но ведь завораживал словами Володя, а тут мне защищаться было труднее всего.

Вдруг Володя сделался серьезным.

– Три дня не ел, – показал он на человека в шарфике.

– Семейный? – спросил я.

Человек не повернулся ко мне, и Володя так же громко, как об отсутствующем, сказал:

– Немец. По-русски не понимает.

Человек в шарфике, который до сих пор даже взглядом не участвовал в разговоре, сидел, уставившись перед собой, теперь с какой-то смутившей меня просительной готовностью повернулся и произнес несколько немецких фраз, из которых я понял, что он действительно давно не ел, потому что прячется от полиции. Язык был, насколько я мог определить, настоящий немецкий, а не лагерный набор беспаданных немецких существительных с глаголами в неопределенной форме. Однако замечен был и какой-то акцент. Что могло быть невероятнее немца, ищущего спасения в нашем лагере! И я присматривался. Как меняется немецкий лагерный жаргон, когда им пользуются французы, поляки, голландцы, я уже слышал. Акцента человека в шарфике я определить не мог. Заметил я также, что одет он не как немец, а под немца. Пиджачок староват, шарфик чуть-чуть не так повязан. Не улыбка, а тень улыбки, сохранившаяся на дне Володиных глаз, все еще вызывала мое беспокойство. С другой стороны, как должен быть одет немец, стремящийся укрыться от немецкой полиции в русском лагере? В нашем русско-польском смешанном лагере он вполне мог сойти за не очень удачливого поляка или украинца, знающего немецкий язык. В голосе – полное отсутствие полицейско-солдатских интонаций, солдатской громкости, которые казались обязательными для истинного германца. Настолько обязательными, что даже «ненемцы» их тогда невольно перенимали. А тут слова немецкие, но интонация обыденная, разговорная, воспитанная в какой-то другой стране. Так говорили дед Эрнест и тетя Грета. Слова немецкие, а интонация русская. И вообще тут, конечно, было много несовпадающего, несходящегося. Но я не дал этому несовпадающему и несходящемуся слишком развиться, слишком разойтись. Я уже знал, как недолго носит свое обличье необыкновенное – слишком часто на него надеялся. Но ведь только необыкновенное обещало быструю перемену в судьбе. И вся моя лагерная жизнь, все мои лагерные надежды были ожиданием необыкновенного. Ну, пусть не немец, пусть Володя зачем-то путает меня. Но необыкновенное здесь есть. И главное доказательство – не пиджачок, не немецкий язык, а то, что Володя рискнул попросить для него хлеба. Пайку можно обменять, продать, но просто попросить нельзя. Этого в лагере еще не было, я точно знал. Это было самое важное. А еще важнее, может быть, была моя готовность возбудиться, поверить. Человек в зеленоватом пиджачке вызывал сомнения, но чувства мои сомнения не вызывали, я изголодался по ним. Тут было и мгновенно проснувшееся чувство интернационального – этой воспитанной в нас любви к дальнему, этой высшей справедливости. И, самое главное, было ощущение судьбы – моей судьбы. Недаром Володя меня позвал. Если существует такой немец, если Володя верит ему, следовательно, существуют солидарность, красный фронт, подполье.

Я принес хлеб и поделил его пополам. Человек в шарфике не потянулся – ждал сдержанно, почти равнодушно. Сказал «спасибо» и назвал свою фамилию, чего, на мой взгляд, ему делать не следовало:

– Эсман.

Фамилия, конечно, могла быть придуманной, но и в остальном, пока я сидел рядом, Эсман сохранял излишнюю, на мой взгляд, готовность отвечать на вопросы. Я ждал краткости, уклончивости, естественных в этих обстоятельствах, и сам своими вопросами больше поддакивал, чем спрашивал. Хотел показать свою сообразительность, пригодность к тому делу, которое, раз уж меня позвали, теперь без меня не пойдет. Вообще жаждал сближения с необыкновенным. Но Эсман серьезно выслушал мой вопрос и, смущая основательностью, на которую я никак не рассчитывал, открытостью, на которую я не имел права, отвечал. При этом оказалось, что он прекрасно говорит по-русски, а немецкие слова употребляет, когда ему не хватает русских. Все это сразу же усилило мои сомнения, однако Эсман тут же меня удивил. Сказал, что вначале хотел выдать себя за француза и спрятаться от полиции во французском лагере. С этой целью он проник на фабрику и стал знакомиться с французами, но французы не поверили ему, да и форму французскую трудно было бы найти. А тут он столкнулся с Володей и заговорил. Как прошел на фабрику? Это просто. В ограде есть дырка.

– Вы и французский знаете? – спросил я.

– Да, – ответил Эсман. И с той же готовностью произнес несколько фраз по-французски – спросил меня о чем-то. Я смущенно пожал плечами, и он кивнул головой. – Да, да. И по-итальянски, по-испански. Английский? – сам себя спросил. И ответил с сомнением: – Нет, немного. Немножко норвежский. Литовский. Отец говорил, надо знать все европейские языки.

Лет ему было не больше двадцати пяти. Он не хвастал, просто отвечал на мой вопрос и старался сделать это как можно полнее. И смущал меня этой обстоятельностью: чем я мог ответить такому образованному человеку? А он как будто не замечал ни разницы в возрасте, ни в образованности. Подробно объяснил, как проникал в кирху, в которой ночевал последние несколько дней. Тут ему не хватило русских слов, а мне – знания архитектурных особенностей церкви, и я не понял.

Было вообще непонятно, как мог этот столь простодушный в своих ответах человек совершить поступки, требующие не только смелости, но ловкости. Для того чтобы проникнуть в лагерь, ему нужно было благополучно пройти через два пересчета: у фабричных ворот и у лагерных дверей.

– А! – объяснил он. – На одного меньше – опасно! Опять надо считать. «Один, два, три...» – он показал, как считают полицаи. – На одного больше? Ошибка! «Один, два, три...» А-а! Не опасно... Проходи!

Это было не очень правдоподобно. Считали тщательно, по два-три раза, пропускали в двери десятками. Он сидел в своем шарфике и пиджачке на Володиных нарах и казался мне все более странным, все менее совпадающим с лагерной обстановкой. Я сказал, что ему надо быть осторожнее, не попадаться на глаза Гришке и не отвечать всем так откровенно.

Все-таки это было удивительное простодушие, удивительное отношение к опасности, к собственной судьбе.

Жевал он медленно, и нельзя было понять, знаком ли ему бурачный вкус лагерного хлеба, сделанного из отбросов пивного производства, или он ест его в первый раз. Как только он доел последнюю крошку, Володя сразу же отправил меня к себе:

– Ну всё! Потом позовем.

Уходить не хотелось, и Володя поторопил:

– Иди, иди! Костик сейчас придет. Уже ищет тебя.

Костик сидел на своих нарах. Когда я подошел, он спросил, полуотвернувшись, со своим обычным высокомерием:

– К Володьке ходил?

– Да.

– Звал или так просто?

– Так просто.

Костик отвернулся еще больше.

– Я бы не пошел.

Ночью я не спал, заснуть не давала надежда. В нескольких метрах от меня происходило что-то необыкновенное. На следующий день в подземелье я спросил Володю:

– Как немец?

Володя засмеялся:

– Он такой же немец, как ты француз. Литовец!

– Нет, серьезно?

Но Володя смеялся, разыгрывал, уводил меня от вопросов об Эсмане. И я перестал спрашивать. Вот с каким человеком я столкнулся в подвале. И, когда он на мой вопрос ответил: «Не понимаю», – я не стал напоминать ему о себе. Только еще раз ощутил странное простодушие, идущее от этого человека. Может быть, эта непонятная наивность, неловкость и сохраняли его? Уже многие в лагере знали о необычном новичке. И никак это не могло пройти мимо Гришки. Ночевал он и за польскими шкафчиками, и на нашей половине, занимая койки тех, кто уходил в ночную. И эта удачливость без ловкости в обстоятельствах, которые, казалось, исключали всякую удачливость, внушала мне сейчас надежду.

Долго простоять в этом месте, не глядя друг на друга, не заговаривая, было невозможно, и я сказал:

– Обыск! Полно коричневых, – и показал наверх.

Эсман едва покосился на мой голос, и я вдруг почувствовал, что он боится и оттого так скован. И мне пришло в голову, что это его сегодня искали и еще, конечно, ищут.

Шум наверху то приливал ко входу в подвал, слышны были немецкие голоса, и тогда я готовился к тому, что идут за нами, то отливал, и тогда я представлял себе, как обыскивающие открывают шкафчик за шкафчиком и останавливаются перед моим. Ощущение это становилось все отчетливее, и все непереносимей делался отравленный густыми дезинфекционными испарениями воздух. Невыносимой становилась мысль об этом унижительном убежище, в которое я забрался по собственной глупости. Пока я здесь сижу, события неотвратимо накапливаются. Они все равно настигнут меня, как бы долго я здесь ни просидел. Само движение этих событий представилось мне таким ясным и простым, что, лишь немедленно отправившись наверх, я еще мог избавить себя от того дополнительного унижения, которое я сам на себя взвалил. Страх и смутная надежда еще удерживали меня, но страх и подгонял – от него надо было избавиться. Кроме того, меня подталкивало то, что я оказался в одном месте с Эсманом – удваивал для него опасность. Придут за мной – возьмут его. Володя не простит мне, если из-за меня, малолетки, схватят этого немца или литовца, бог его знает, кого.

– Пойду! – сказал я Эсману. – Счастливо!

В дневном свете лагерная лестница стала обычной черной лестницей, со стен и ступеней исчез какой-то нереальный ночной электрический налет. Столб света, который падал из окна (утром и вечером оно закрыто светомаскировочной бумагой), так густо дымился, что я невольно задержал дыхание, чтобы не наглотаться пыли. Голова Апштейна тоже казалась не такой тугой и блестящей, какой она казалась в электрическом свете. Он уставился на меня со свирепой близорукостью, когда я проходил мимо дверей, ведущих в вахтштубу. В дневном свете он облинял и постарел и чувствовал себя как разбуженное ночное животное. По лестницам уже началось воскресное, праздничное движение. И праздничность эта была связана с обыском. Шли те, кто уже обыскан и освобожден. Они только что пережили свое возбуждение и были заражены чужим. Для них все складывалось хорошо: чем дольше

обыск, тем больше уверенность, что сегодня оставят в лагере, не погонят на работу. Кто-то мне крикнул на ходу:

- Тебя ищут!
- Зачем? – спросил я.
- Шкаф у тебя закрыт.

Я хотел тут же повернуть и опять спуститься в уборную, но новая неопределенность, новое ожидание мне были не по силам, и я вошел. Здесь тоже был воскресный дневной свет. Не горела ни одна лампочка ни над койками, ни в проходах. На окнах подняты маскировочные шторы. А в изломах оконного, рикошетирующего в коечных рядах света клубилась еще не осевшая после обыска пыль. В дневном свете сильнее пахло соломенной трухой и холодом. В межкочных проходах, рядом со шкафчиками в своих новеньких пальто, в начищенных сапогах штурмовики двигались так, как ходят вдоль свежеекрашенного забора, словно тоже чувствовали, какой несмываемой пленкой от нашего голодного дыхания, нездорового пота покрыты кочные стояки. И странно было видеть их окрашенные здоровьем, сытостью, уличным холодом, движением лица, их яркую чистую одежду, блестящие сапоги, слышать громкие голоса – они перекрикивались через койки из одного конца зала в другой – в нашем как бы лишенном штукатурки и окраски помещении. Мелькнули оловянные глазки глухого Ганса. Он поводил подбородком – старался освободить шею от тесного воротничка. И вдруг судорожно зевнул. При этом глазки его так вытаращились, как будто он чему-то сильно удивился. В этот момент я вошел в зал, наши глаза встретились. На мгновение мне показалось, что это моему появлению так удивился Ганс. Но он тут же отвернулся. Щеки его надулись, как у человека, собирающегося извлечь звук из духового инструмента, и он энергичными шагами куда-то направился. Однако это были шаги человека, не знающего своей цели. Ганс тут же остановился, повел подбородком, словно проверяя, не растянулся ли наконец воротничок, и удивленно оглядел зал. Он тоже чего-то опасался – своего непонимания, что ли. Я сразу увидел, что свободного, праздничного движения, которое говорило бы об окончании обыска, в зале не было. Банные шкафчики наши шли вдоль стены налево от входной двери. Как раз в том месте, где был мой шкафчик, стояли Урбан, мастер из механического цеха Брок, известный в лагере тем, что он с палкой набросился на девушек, певших во время перерыва украинские песни, Пауль и еще два или три немца из литейного цеха. Здесь же держались Костик и Володя, масляно светил золотым зубом Петька-маленький. Костика только что обыскали, Володя ждал, чем все кончится, а Петька посвечивал зубом Броку, у которого он в цеху работал. Лицо Брока было неподвижно, он не замечал Петькиных заигрываний. Урбан покачивал в ладони висячий замочек, которым был заперт шкаф, ждал, кто подойдет. Володя увидел меня и сделал страшные глаза. Костик показал на голову: «Сам себя валишь!» Движение в мою сторону уловили Урбан и Пауль. Но Пауль при Урбане и Брое держался сзади. В глазах Урбана, повернувшегося ко мне, еще не возникла догадка, а на гладком лице Брока не было ничего, кроме самой первой настороженности. Урбан и Брок всегда носили партийные значки, кроме того, Урбан обнажал свою партийную приверженность распространенным в Германии способом – носил прическу и усики «под Гитлера», а Брок был гладко выбрит, острижен коротко и вообще представлял тот тип служебной значительности, при котором обязательна некоторая перекормленность и невозможен несвежий воротничок. И цеховая спецовка его, и нынешний мундир штурмовика были сшиты из более дорогих материалов, чем это полагалось и на спецовку, и на мундир. А маленький партийный значок поблескивал скромно и тускло. И на лицах их партийность была выражена по-разному. Серьезное лицо Урбана выражало понимание: «Да, голодные шкафчики, цементный пол, да, обыск, но таков долг, такова историческая необходимость Германии». Партийность на лице Брока была страшной. Она не оставляла нам никаких человеческих возможностей. Он одинаково отстранялся и от наших волнений, и от Петькиных заигрываний. И во взгляде его,

когда он на кого-то из нас смотрел, не было ни вопроса, ни вообще той живой изменчивости, которая появляется, когда люди смотрят друг на друга. Он как бы и не видел наших глаз, должно быть, потому, что взгляд в глаза был бы уступкой, нарушением неких норм. Эта манера держаться не принадлежала самому Брокю. Я видел ее у многих немцев: полицаев, мастеров, уличных прохожих. Манера Урбана была редкостью. Поэтому я и смотрел на него с некоторой надеждой. И вдруг увидел, что не мой замок он взвешивает в руке. Мой был крайний к окну. А этот замыкал соседнее отделение (шкафчик состоял из четырех секций). Мой замок висел на месте. Следовательно, они его не сорвали. Еще бы десять минут, и обошлось! Я это понял в тот момент, когда Петька закричал:

– Его ищут, а он где-то ходит!

В глазах Урбана, покачивавшего замок, что-то стало меняться. Брок повернулся ко мне, и я почувствовал тяжесть его взгляда.

Костик отвернулся.

– Падла!

Володя сказал:

– Быстрый! Не подождал, пока спросят...

Урбан посмотрел на Володю и перевел взгляд на Петьку. Теперь Петька заулыбался широко, засветил зубом и для Урбана, и для Володи, и для Костика – по простоте душевной... Володя сказал, указывая на запертый шкафчик:

– В ночной. Фабрик, арбайт.

Я сказал:

– Сейчас позову! – и побежал на третий этаж к семейным. Это был малонаселенный этаж, и обыск там кончился. У семейных меня и отыскал Костик.

– Ушли, – сказал он. – Что тебе ночью снилось?

И я рассказал про собаку и про то, как не мог вспомнить, укусила ли она меня.

Мы видели, как по лестнице спускались штурмовики, как они ставили сапоги на стертые лестничные ступени, перешучивались. Все-таки, конечно, эти фабричные активисты – литейщики, механики, – одетые в одинаковую форму, провели любительский обыск, воскресное мероприятие. Поэтому целы остались и мой замок, и замок соседа. По лестнице они шли тесно, как толпа из кинотеатра, перил не касались, старались не коснуться стены. Нарукавные повязки казались яркими флажками. Кое-кто из них теперь оглядывался, махал рукой знакомому или напарнику:

– Иван! Ауфвидерзеен! Бис морген!

И это почему-то вызывало у них смех.

Когда мы с Костиком спустились на второй этаж, там был переводчик. Держался он так, будто обыск должен был познакомить и сблизить нас с ним. Он слегка надувался; под взглядами нескольких человек, окруживших его, достал из кармана пачку немецких сигарет, вытащил одну, закурил и пачку спрятал в карман. Так он показал всем, что он нам не ровня. Но и штурмовикам и гестаповцам он был не ровня. Иначе он не отирался бы здесь в некоторой неопределенности, а спустился бы с ними или сидел с полицаями в вахштубе. Конечно, ему и поговорить хотелось с русскими, и показаться нам. Показать жилет под пиджачком, цепочку от карманных часов, новые полуботинки и эту голубую пачку сигарет № 5, которые и должны были убедить нас, что он совсем как немец. Он рассчитывал на любопытство и, странно сказать, на благожелательность. Так он стоял, подставляя себя нашим взглядам, вольно расстегнув пиджак, так выбирал среди нас самого пожилого, авторитетного, на чьи вопросы он мог бы отвечать, с кем ему было бы достойно говорить. Нас с Костиком он, понятно, не заметил. И я с острым любопытством смотрел в его голубые глаза, оболочка которых была изменена тем самым напряжением, с каким он смотрел на нас, когда шел вдоль шеренг. Это был как бы постоянный след, отсвет того непонятного и ужасного,

из чего состояла жизнь этого человека. Сейчас напряжение спало, но след остался. Целый мир непонятных мне причин и следствий был за этим выражением. Поразительно, но он не чувствовал, как на него смотрят! Свою, в общем-то, естественную потребность вызывать интерес, любопытство он пытался удовлетворить среди тех, кто минуты не дал бы ему прожить, изменись что-нибудь.

Володя спросил:

– Что такое концентрационный лагерь?

И, словно его возбуждали сами немецкие слова, возможность картаво катать звук «эр», а главное, восхищали организованность и упорядоченность ужасов, которые к тому же так звонко назывались «концентрационный лагерь», переводчик стал объяснять, какая разница между рабочим и концентрационным лагерем.

Кто-то сказал:

– Тут тоже бьют.

Переводчик засмеялся.

– Это не то! – сказал он.

Еще у него спросили, давно ли он в Германии, где живет, и стали расходиться. Я тоже пошел на свою койку и со своего места видел, как переводчик вышел на лестничную площадку и стоял там один, ждал, должно быть, когда его позовут в вахтштубу.

Из коечной глубины вышел Лева-кранк, прошел вдоль шкафчиков, взглянул на мой замок, дернул своей мятой мягкой щекой – подмигнул мне.

– Отсиделся?

Я его ненавидел так же, как переводчика.

Точно так же он подмигнул Костику.

– Перезимуем?

Внизу грохнули большим суповым термосом о цементный пол – сгружали воскресную баланду. Грохнули еще раз и потом еще. Слушал не только я, прислушивались все. Больше жестяных ударов о цементный пол не было. Значит, воскресная картошка. В двух термосах – сама картошка, в третьем – что-то вроде подливы из соуса-концентрата. Чаше в воскресенье привозили баланду из квашеной капусты, не заправленную тростниковой мукой. Но тогда было бы четыре термоса. Картошка, понятно, лучше, ее и привозили реже. И сейчас, конечно, приурочили к обыску. Но два термоса на весь лагерь – полторы картошки на человека. Хлеб в воскресенье не выдавали. В воскресенье Гришка отдыхал. Воскресную пайку вместе с недельной долькой маргарина и недельной меркой сахара, в которую входило две-три ложки сахарного песка, он выдавал в субботу. В субботу же совершались все мыслимые обмены: пайка хлеба – шесть сигарет, недельная пайка маргарина – двенадцать. Я обменивал полпайки маргарина на шесть сигарет. В субботу же играли в карты под сигареты, так что воскресное утро начиналось с голодных сожалений, с еще более мучительных голодных предчувствий. Предстоял полный день без хлеба и почти без еды. И длина его измерялась голодом. Когда внизу поднималась суета и тяжелый термос грохал о цементный пол, вслушивался весь лагерь. Количество этих ударов подводило итог голодным надеждам.

Сейчас, через столько лет после войны, голод можно представить как сильное желание есть, как физическое недомогание. Однако голод – нечто другое. Он не только меняет дыхание, частоту пульса, вес и силу мышц, он обесцвечивает ощущения и сами мысли, не отступает и во сне, изменяет направление мыслей. И, может быть, самое страшное – меняет ваши представления о самом себе. И уж совсем особое дело – голодание многих людей, запертых в одном месте.

Когда голод достигает степени истощения, у него появляется горячечный, карболовый, тифозный запах, которым невозможно дышать. У голода послабее – пресный гриппозный запах, изменяющий вкус хлеба и табака. В этом неотступном гриппозном недомогании все

полы кажутся цементными, все стены – лишенными штукатурки. Это бесшумный и непрерывный метод полицейского давления, и, может быть, поэтому главное – не показать, как ты голоден. Не сразу я, конечно, понял, что дело не только в сохранении лица. Кто сохраняет чувство собственного достоинства, сберегает по каким-то важным жизненным законам и больше шансов на жизнь.

Поэтому у двух-трех постоянных добровольцев возить баланду не было конкурентов. Правда, в воскресенье за картошкой Гришка обычно отправлял своих прибалтанных приятелей.

Все слышали грохот термосов. Волоком их тащили по коридору в Гришкину раздаточную. Однако не заторопились с мисками. Позже получишь – позже съешь. Я тоже, выжидая, сидел на койке. В открытую дверь было видно, как курил на лестничной площадке переводчик, как оглянулся на шум, посмотрел вниз. В этот же миг я увидел поднимающегося по лестнице Эсмана. Он тоже, должно быть, по грохоту суповых термосов решил, что все уже кончилось и можно выходить. Первый этаж, вахштубу он миновал благополучно и теперь чувствовал себя в большей безопасности. В тот же момент по напружинившейся спине переводчика я понял, что он узнал Эсмана.

Чтобы хоть как-то отвлечь внимание переводчика, я заорал:

– Картошку привезли!

На меня шикнули. Переводчик даже не оглянулся. Теперь и Эсман увидел его. Он запнулся на лестнице, побледнел, а переводчик, наливаясь яростью и негодованием, с криком бросился вниз. Он разминулся с Эсманом, даже отшатнулся от него. Бегать по лестницам было ему непривычно. Кричал он так панически и нетерпеливо, как будто Эсман мог куда-то исчезнуть или наброситься сзади. Эсман побежал вверх. Дальше третьего этажа бежать ему было некуда, но он, должно быть, не хотел, чтобы его взяли у нас, уводил полицаев. Внизу поднялся рев и как бы остановил Эсмана на промежуточной площадке между вторым и третьим этажами. Ни на каком другом языке нельзя так яростно кричать. В любом другом языке для этого не хватит нужных звуков. Я ненавидел каждый звук. Мы выскочили на лестничную площадку. Мимо пробежали гестаповцы и полицаи. Пирек поднимался последним. Раздвинул всех, наклонился над Эсманом и, что-то наставительно ему выговаривая, толкал в лицо тяжелым старческим кулаком. Потом повернулся к нам. Пенсне отсвечивало, нижняя губа брюзгливо отвисла и тоже синевато поблескивала, будто Пирек ее облизал. Нас загнали в зал, а Эсмана поволокли вниз, и я успел увидеть его непоправимо изменившееся лицо.

Пришел Гришка, посмотрел остекленевшими глазами.

– Строиться!

Переводчик то же самое радостно прокричал по-немецки:

– Антретен!

Нас поставили на свободном месте перед койками. Стояли долго – Эсмана водили по первому этажу. Потом прибежал Апштейн.

– Штильгештан!

Втолкнули Эсмана. Его вел Пирек, переводчик держался поодаль. Пирек наклонился над Эсманом, тыкал пальцем в очередного в нашей шеренге.

– Дизе?¹⁵

Толкал к следующему.

– Дизе?

Иногда пренебрежительно пропускал одного или двух, а у третьего останавливался надолго, бил Эсмана по затылку раскрытой ладонью, принимал к уху, кричал, тыкал пальцем.

– Дизе? Дизе?

¹⁵ Этор? (Нем.)

Вывернутая губа его влажно блестела, щеки порозовели, Эсман вздрагивал, отрицательно качал головой, а Пирек грозил тому, на кого указывал. Я ждал своей минуты, но Пирек только ткнул в меня пальцем: «Дизе?» – и не стал ждать ответа. Прошел и мимо Костика. На Андрия махнул рукой, а против Володи остановился. Володя как-то вызывающе качнулся навстречу Пиреку с пяток на носки. Пирек показал на него Эсману. Не глядя, Эсман отрицательно качнул головой. Пирек обхватил его сзади и так предплечьем поднял ему подбородок, что голова Эсмана запрокинулась. Долго в чем-то убеждал, все больше заламывал голову назад. Володя бледнел, а Пирек вдруг бросил Эсмана и вытащил из шеренги Андрия. До сих пор Пирек отстранял переводчика, махнул рукой, когда тот попытался переводить, а тут позвал его. Андрий по-своему налился краской, смущаясь того, что не всё улавливает так, как все. Лицо его стало плаксивым.

– Знаешь его? – показал переводчик на Эсмана.

Андрий показал себе на уши.

– Не слышу.

Он беспомощно оглянулся, призывая всех в свидетели. Переводчик заорал:

– Видел этого человека?!

И опять Андрий показал на уши.

– Не понимаю.

Пирек махнул рукой. Ворча, он прошел мимо Левы-кранка, задержался на мгновение перед Петькой-маленьким. Петька с готовностью посветил ему зубом.

– Унд ду кляйн Петер? – сказал Пирек.

Петька заgrimасничал, пожал плечами – мол, рад бы, но ничего не знаю.

– А-а! – пренебрежительно проворчал Пирек.

Нам велели разобраться по койкам, а Эсмана провели по межкочным коридорам, останавливая перед каждой койкой. И опять Пирек спрашивал:

– Хир?¹⁶

Ударил Эсмана лбом о доску верхнего этажа нар, кричал:

– Хир?

Поворачивался к молчаливым гестаповцам, разводил руками – показывал, как его поражает и возмущает упорное запирательство Эсмана. Однако постепенно мы стали понимать, что Пирека устраивают и наши ответы, и запирательство Эсмана. Пирек показывал гестаповцам, что Эсман совсем недавно попал в лагерь – сутки от силы. Полиция обязательно бы его обнаружила. И если это понимали мы, улавливавшие треть из того, что говорил Пирек, то гестаповцы это тем более должны были видеть. Однако они молчали и не вмешивались.

За лагерными окнами начало синеть, в помещении сгустились сумерки. Из вахштубы зажгли свет, на окнах спустили светомаскировочную бумагу. На прессованном картоне банных шкафчиков, на стенах, на кочных стояках появился привычный электрический налет. В воздухе сильнее запахло соломой, теснотой, бескислородным воздухом, который побывал во многих легких. Черная бумага на окнах совсем отрезала лагерь от остального мира. Началось дежурство Апштейна, а тем, кто работал в ночной смене, пришла пора собираться. Эсмана увели, а потом и увезли. Было объявлено, что сегодня весь лагерь лишается еды. А через полчаса тоскливого ожидания появилась надежда. Гришка позвал:

– Кто идет в ночную, за картошкой!

И еще через час ожидания:

– Всем за картошкой!

¹⁶ Здесь? (Нем.)

Я надеялся, что Володя позвет меня к себе на койку, но он не звал. Ночью неотступно видел потемневшее от побоев лицо Эсмана, вспоминал странные слова, которые он произнес, когда я сказал, что ему нужно быть осторожнее: «О, не беспокойтесь! Меня все равно найдут. Очень квалифицированная полиция». Я сказал, что, наверно же, есть шансы прижиться в лагере, сменить фамилию. «Нет, – сказал он. – Очень мало. Совсем мало». В детстве у меня было одно сильное впечатление. Мама рассказывала, что ее брат, мой дядька, когда ему вырезали аппендикс, отказался от наркоза – так он берег свое сердце. Рассказано это было, конечно, к случаю, чтобы я знал, как важно беречь здоровье. Но мама не рассчитала силы впечатления. С этого момента я стал смотреть на дядьку, когда он к нам приходил, со страхом и отчуждением. Меня бы восхитил человек, попавший, скажем, в трамвайную катастрофу и мужественно перенесший неожиданную боль. Случайности, неожиданности, даже страшные, – это было то, что я уже знал. Но ясно представлять себе будущую боль, планировать ее, устранять средства, которые помогли бы ее избежать, – это открывало для меня какие-то ужасные возможности в мире, в который я только вступал. Я ничего не хотел бы о них знать, но дядька приходил, пил чай, спорил с отцом, разговаривал с матерью, иногда шутил со мной, и я смутно предчувствовал, что и меня ждет встреча с чем-то таким, с чем уже встретился он. В том, как говорил Эсман, тоже было что-то от операции без наркоза. Мысль его как будто совсем не нуждалась в обезболивании надеждой. Мне эта живая надежда была совершенно необходима, и я никак не мог понять этой его манеры. Что бы ни случилось, я бы, наверно, до самого конца надеялся. А он еще до того, как что-то случилось, отказывался от надежды. Говорил, что собирается перейти швейцарскую границу, но шансов почти нет. Говорил, что нам надо бежать, но у нас шансов еще меньше. Может быть, это у него так получалось, когда он говорил на языке, который не совсем освоил. Однако меня он оттолкнул этой странной холодностью, и я не старался с ним встретиться не только потому, что Володя не звал меня.

И еще я думал, что сегодня избежал побоев, но не страха. От побоев в лагере, если повезет, можно уклониться – все-таки полицейских меньше, чем лагерников, даже если будут очень стараться, всех избить они не смогут, – но страх здесь постоянен.

6

В понедельник Пауль в подземелье зло закашливался, замахивался, будто не растратил воскресное возбуждение. На следующий день у нас появился новый фоарбайтер. Мы видели, что немцы на что-то собирают деньги. Володя спросил у механика-компрессорщика, что случилось. Оказалось, ночью умер Пауль. Механик сказал нам об этом и, должно быть, неожиданно для себя предложил нам принять участие в сборе денег. «Бедная семья, – сказал он. – Трое детей». Смотрел выжидательно. Володя похлопал себя по карману, засмеялся. Когда механик уходил, лицо у него было такое: «Меня ж предупреждали об этих русских...» Мне это предложение компрессорщика запомнилось не меньше, чем смерть Пауля: работал рядом, должен был всё видеть.

В среду на утреннем пересчете меня поставили в команду, идущую в литейный цех. Новый фоарбайтер отказался от меня. В первые же дни я понял, что в подземелье еще можно было жить. Литейный – пытка, к которой ни притерпеться, ни приспособиться. Когда заводская сирена гудела отбой, сил не оставалось, чтобы порадоваться этому самому свободному в лагерной жизни времени: смена закончилась, ночные заступают через четверть часа, а эти-то пятнадцать минут как бы ничьи, как бы горбушка на пайке, которую можно отрезать.

Через пятнадцать минут начнутся пересчеты, кого-то будут ждать у проходной, кого-то побьют, и время побежит все быстрее и быстрее с того момента, как ночные возьмут лопаты, включают станки и из цехов, все накаляясь и накаляясь, будут доноситься звяканье, удары металла по металлу – начнется отсчет второй половины лагерных суток. Отсчет этот тоже будет мучителен, а пока стоишь – где стоишь, идешь – куда идешь, даже как будто с вернувшимся чувством собственного достоинства. Заводское начальство тобой уже не интересуется, лагерное еще ждет за проходной. И есть люди, куда более несчастные, чем ты: ты уже закончил, а ночникам только начинать. Постоянное чувство голода в эту минуту больше всего сказывается в желании курить. Голодные ноздри улавливают дым на огромном расстоянии. Курящему не спрятаться даже в уборной. Лагерник забеспокоится, пойдет на табачный дым, не сможет не пойти. Истощенный организм весь сосредоточится – не на чем ему больше сосредоточиться – на сумасшедшем желании взбодриться или отравиться никотином. И с этой минуты у лагерника кончится расслабленность, ощущение какого-то «окна», промежутка в его страшной несвободе...

Я обжег руку, приложил ее к раскаленному боку печи, попытался закранковать. К тому времени я уже кое-что знал о кранках. Кранк – по-немецки «больной». Но и лагерники и полицейские отличают больных от кранков.

Утром все из лагеря уходит на работу. Это минута тревожного счастья для кранка. Счастья, потому что именно в эту минуту он по-настоящему ощущает, насколько ему под одеялом лучше, чем всем, кто сейчас наматывает портянки, дрожит от холода, заправляя койку, переминается с ноги на ногу перед собственным шкафчиком, хотя нечего тут переминаясь: шкафчик пустой, полки из прессованного картона голы, гладки и вызывают болезненную изжогу, когда трогаешь их рукой или хотя бы только взглядом. Хлеб – остаток пайки, который лежал здесь вечером, сберегаемый на завтрак, – съеден. Съеден самим же хозяином, о чем хозяин не может не знать. Вчера сам положил, замком прихватил дверь шкафчика, старался думать о чем-то другом, забыть, что рядом, в шкафу, лежит хлеб. Но, куда бы ни шел, все возвращался к шкафчику, открывал дверцу, обманывая самого себя, что нужно ему что-то такое достать или осмотреть, но доставал только остаток пайки. Дышал на хлеб, нюхал его и клал на место, не тронув, но потом все-таки брал в руки опять и надрезал с того края, где горбушка была неровной, подравнивал. Все дело было в том, чтобы подрезать хлеб и все-таки оставить его размерами точь-в-точь таким, каким он был раньше, когда его только

положили в шкаф. Эту неразрешимую задачу владельцы паек неумолимо решали каждый вечер. Пайка подравнивалась и укладывалась на ту же гладкую полочку – вторую сверху – из прессованного картона. Вторая полка и выделена была специально для хлеба и для других припасов: маргарина, картошки – если удастся украсть, – брюквы. Вторую полку в этих банных шкафчиках никто, конечно, не предназначал специально для продуктов. Но кто-то первый положил на нее хлеб, и все остальные в лагере тоже стали класть. Но выбрали ее для продуктов не случайно: полка эта как раз на той высоте, которая и должна быть выбрана в лагере для хлеба, – откроешь дверцу, и сразу все видно. Правда, и опасается лагерник тоже: хлеб надо прятать, класть его куда-то наверх, чтобы вор не сразу его нашел. И есть такие осторожные, что поначалу кладут свой хлеб не на вторую полку, а на самую верхнюю и засовывают его подальше вглубь. Откроешь дверцу – ничего не видно. Только гладкая полка из прессованного картона. Надо стать на цыпочки и засунуть в глубину руку. Но ведь, пока станешь на цыпочки, пока нашаришь вслепую на верхней полке пайку, сердце десять раз кровью обольется. Особенно если забудешь, в какой угол сунул пайку. Поиграешь с собой несколько раз в такую жуткую игру – и всё. В следующий раз положишь – если будет что класть – на вторую полку. Открываешь дверцу – и всё сразу перед глазами.

Вечером из Гришкиной раздаточной пайку несут в шкафчик. Кто – совсем целую, кто – слегка надрезанную. Несут потому, что хлеб разумно оставить на утро, когда есть совсем нечего. Несут потому, что твое великое наслаждение – вот оно, все взвешено и измерено. Больше его у тебя не будет ровно сутки. Двадцать четыре часа. И ты, естественно, отодвигаешь это наслаждение как можно дальше. Чтобы как можно дальше оно было у тебя все еще впереди, а не позади уже. Несут в шкафчик еще и потому, что кто-то ведь обязательно принесет. А это невероятная мука, если он будет есть у тебя перед глазами – а где же ему еще есть! – а у тебя в шкафу будет пусто.

И вот приходят люди со своими пайками, половинками паек, двумя третями и глазами взвешивают чужие пайки в чужих руках. Столько ли другие съели, сколько и ты, или меньше. И какая пайка им досталась, большая или маленькая. Есть такие удачливые, которым всегда достается большая пайка.

Потом укладываются на койках поверх одеяла, закуривают, если у кого есть закурить, стреляют «бычок» у тех, кто курит, – тем, кому исполнилось восемнадцать лет, выдают по четырнадцать сигарет на неделю, – разговаривают о делах на фронте, о лагерных делах, в карты соберутся играть, но не в «дуракам», не в «шестьдесят шесть» – в лагере в неазартные игры просто не играют, – а мыслью все кружат и кружат вокруг своих паек.

Кто-то не выдерживает, открывает шкаф... И вот утром стоят у пустых полок.

У кранка и подавно в шкафу ничего нет. Пайка у него поменьше, а времени свободного – весь день. И пайку ему выдают еще днем, вместе с теми, кто работает в ночной смене. Можно, конечно, подождать и получить пайку вечером, с теми, кто придет после дневной. Но кто ж удержится! Кранк свой хлеб получит днем и днем же его съест. Кранки себя не обманывают. Целый день лежать на койке и мучить себя мыслью о хлебе, который лежит рядом! Хлеб съедают сразу. Тем более что кранки – люди лихие. Аристократия лагеря. Люди, которые идут на членовредительство, чтобы не работать.

Поэтому кранк утром испытывает не просто счастье человека, избавленного от непосильного, каторжного труда, но еще и удовольствие от мысли, что он все-таки ловчее и умнее этих кряхтящих, измученных голодной изжогой, невыспавшихся людей. Они идут туда, куда их гонят, а он сам распоряжается своим телом, сам кует свою лагерную судьбу. Но кранк еще испытывает и страх, потому что длительное кранкование подозрительно, потому что долгих кранков рано или поздно из лагеря куда-то отправляют. Уже нескольких отправили, и они, говорят, объявились в каком-то концлагере. Впрочем, утренний страх кранка не имеет

точных очертаний. Просто страшновато: все уходят, а ты остаешься один. Заглянет полицай, а ты один.

Наконец все уходят, помещение пустеет. Затихают голоса полицейских – они сделали свое утреннее дело, выгнали всех на работу. Теперь у кранка есть несколько сравнительно спокойных минут. Полицейские отдыхают. Потом они придут с проверкой. Заглянут в комнату, пересчитают тех, кто остался. Спросят, почему остались. «Ночная смена? Хорошо!» Ночных беспокоить не будут. Но кранков обязательно сгонят с коек. В болезни полицаи не верят. Больных, освобожденных от работы, полицаи классифицируют по-своему. Улежать под одеялом имеет шансы только тот, у кого высокая температура, бред, очевидная беспомощность. Люди, у которых на перевязи рука, хромые вынуждены прятаться весь день, иначе полицаи загоняют их на работу. Люди с больной ногой или рукой – это, как правило, профессиональные кранки. Они болеют долго, с редкими перерывами. Когда кранковать становится опасно, кранк выздоравливает и отправляется на работу. Месяц, иногда полтора он встает вместе со всеми в шесть утра, бежит в умывальник и в уборную, заправляет койку, запахивает на голой груди спецовку – во время кранкования, сидя в помещении, обходится без рубашки, обменял ее на хлеб – и, сжимаясь от холода, мелко дрожа от непривычки, оттого, что и фабрика, и дорога к ней давно для него стали тем, с чем нельзя, унижительно смириться, идет в цех, берется за тачку и кривляется, показывая всем встречным, что это вынужденное отступление, что он не станет грязной тачкой руки пачкать. Однако не так-то просто закранковать. Нужны опыт и смелость. Меня даже к фельдшеру не пустили.

Дикое, ужасное значение работы в чужом цехе, на чужой фабрике, под началом немцев, которые с утра до ночи и с ночи до утра делают здесь мины, снаряды, гусеницы для танков, в первый же день особенно ясно открывается в литейном. Особенно подавляющим открывается лагернику значение каторжного труда – труда, не только не имеющего смысла для него лично, но и направленного прямо против него. Правда, то, что он делает сам, имеет ничтожнейшее значение. Он всего лишь возит на тачке землю из одной кучи в другую: из кучи на дворе в кучу, возвышающуюся в цехе у мюлли¹⁷.

Землю машина перемелет, пересечет, соединит с песком и с другими материалами, так что только в конце этого процесса получится формовочная масса. Эту формовочную массу другие рабочие – русские, поляки, украинцы, французы – тачками отвезут к формовочным станкам. Немцы, работающие на формовочных станках, лопатами набросают эту землю в формы и будут трамбовать ее на своих станках, а готовые формы составят в ряды, так что эти ряды образуют улицы и переулки, по которым можно будет бегать с фанами – высокими ведрами, внутренность которых выложена огнеупорным кирпичом. Ведра эти, налитые до краев жидким металлом, весят килограммов восемьдесят-девяносто, а носят их вдвоем на длинных металлических ручках – специальных носилках для фан. Впереди одна ручка, сзади две. Тот, кто бежит впереди, держит носилки за одну ручку, второй – за две. Второй – главный, он не только несет, но и разливает металл по формам. Он прицеливается ведром в узкую воронку в форме, наклоняет ведро и следит за тем, чтобы вовремя, как раз в тот момент, когда из контрольного отверстия формы покажется металл, отвести ведро и бежать к новой форме. Поэтому второй – немец, а первый, кто угодно, и очень часто русский. Так они бегают вдвоем, и русский, и немец, от большого ковша, который только что привез цеховой мостовой кран, к своим формам. Бегают потому, что металл не ждет – несколько лишних минут, и он перестанет литься, затвердеет в ковше или в форме, остановится на полдороге в форме, – и потому, что у каждого свои формы, их все равно надо залить. Чем скорее зальешь, тем скорее освободишься. Немец с утра формовал, теперь заливает формы, а пройдет полчаса, отпущенных металлу на остывание, и немец выбьет штыри, закрепляющие половинки

¹⁷ Машина в литейном цехе.

формы, а русский ударами молотка разобьет в формах землю, отделит ее от мин, в которые запекся в земле металл. И все это – и заливка, и разборка форм – всюду, на всех заводах, называется горячей работой. Так же она называется и на этом немецком заводе, потому что это действительно работа с огнем, с металлом, который разогрет до полутора тысяч градусов и который, остывая, отдает эти градусы земле, запекая и высушивая ее, заполняя поры этой земли дурно пахнущим газом. Разбитые формы, разваленная земля, сизо-черные болванки мин, связанные воедино металлической пуповиной, – все это сразу же наполняет воздух в цеху дурно пахнущим газом. И люди, наклоняясь, чтобы подхватить крючком связку болванок или сгрести лопатой горячую землю, наклоняются как будто специально затем, чтобы глубже вдохнуть в легкие этот газ. Они травятся этим газом, но если посмотреть на них со стороны, то кажется, что работать им весело. Ибо ни одного движения они не делают медленно. Ни в каком другом цехе не работают так быстро, так бегом, как в литейном. И никогда там быстрее не работают, как в то время, когда идет заливка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.